

Д. МАМИН-СИБИРЯК

Повести
Рассказы
Очерки
!

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Бойцы
(Уральские рассказы)

Очерки весеннего сплава по реке Чусовой.

Содержание

I	.0005
II	.0016
III	.0025
IV	.0041
V	.0047
VI	.0065
VII	.0084
VIII	.0096
IX	.0111
X	.0124
XI	.0135
XII	.0156
XIII	.0181
XIV	.0203
XV	.0220
XVI	.0237
XVII	.0252
XVIII	.0274
ПРИМЕЧАНИЯ	.0295
БОЙЦЫ Очерки сплава по реке Чусовой . .	.0295

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Бойцы

Ой, дубинушка, ухнем!

Мы приехали на пристань Каменку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты; где-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи, и с улицы доносился тот неопределенный шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамой.

Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чем писано и переписано поэтами всех стран и народов; но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на далеком, глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает исподволь, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот в жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой разом зимние декорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света, земля торопливо выгоняет первую зелень, бледные северные цветочки смело пробиваются через тон-

кий слой тающего снега, – одним словом, в природе творится великая тайна обновления, и, кажется, самый воздух цветет и любовно дышит преисполняющими его силами. Прибавьте к этому освеженную глянцевитую зелень северного леса, веселый птичий гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая неудержимо льется с голубого неба, каким-то чудом претворяясь в зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен, и все кругом наполняет удесятеренной, кипучей деятельностью. Я люблю этот великий момент в бедной красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое оцепенение зимы сменяется кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты, когда я проснулся на Каменке: весна гудела на улице, точно в воздухе катилось какое-то громадное колесо.

Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой

волной собравшегося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый лед, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно он проржавел; любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зеленой щеткой и выстилал загораживавшие к реке дорогу горы. В логах еще лежал снег, точно изъеденный червями; по проталинам зеленела первая весенняя травка, но березы были еще совсем голы и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.

Каменка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка. Моя комната была во втором этаже, и из окна открывался широкий вид на реку и собственно на пристань, то есть гавань, где строились и грузились барки, на шлюз, через который барки выплывали в Чусовую, лесопильню, приютившуюся сейчас под угором, на котором стоял дом, где я остановился, и на красовавшуюся вдали двух-

этажную караванную контору, построенную на самом юру, на стрелке между Каменкой и Чусовой. За рекой Каменкой, на низком, отлогом берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчас вылезла из воды своими двумя десятками избушек и теперь сушилась на солнечном пригреве. Гавань устроена, вероятно, из островка или песчаной косы, которая образовалась в самом устье Каменки; нижняя часть этой косы была соединена с крутым берегом, на котором раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани сплошную обставлены деревянными магазинами для склада металлов, строившимися и совсем готовыми барками; везде валялись бревна, сложенные в желтые квадраты, свежий тес, обломки сгнивших барок, кучи пакли, козла и платформы спущенных в гавань барок. Несколько огней, около которых варили смолу для барок, дополняли картину. Весь берег был залит народом, который толпился главным образом около караванной конторы и магазинов, где торопливо шла нагрузка барок; тысячи четыре бурлаков, как живой муравейник, облепили все кругом, и в воздухе

висел глухой гул человеческих голосов, резкий лязг нагружаемого железа, удары топора, рубившего дерево, визг пил я глухое постукивание рабочих, конопативших уже готовые барки, точно тысячи дятлов долбили сырое, крепкое дерево. И над всей этой картиной широкой волной катилась бесшабашная бурлацкая «Дубинушка», с самыми нецензурными запевами. Не успевал замереть в одном месте дружный окрик работавших бурлаков, как сейчас же с новой силой вставал в другом. Могучий вал самой пестрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, как пенистая волна внешней поллой воды, тянулся далеко вниз по реке, точно рокот живого человеческого моря. Эта картина кипучей деятельности тысяч людей представляла неизмеримый контраст с тем глубоким мертвым сном, каким покоится пристань Каменка целый год, за исключением двух-трех недель весеннего сплава. Еще день или два, река взломает лед, и вместе с водой уплывет вся эта бешеная работа, неистовый шум и крик, и опять все будет тихо и мертво кругом вплоть до будущей весны.

– С весной, голубчик! С весной поздравляю! – кричал хриплым голосом хозяин моей квартиры, врываясь в комнату в высоких охотничьих сапогах и в коротком ваточном пиджаке.

– А скоро река тронется, Осип Иваныч?

– Э, голубчик, чего вы захотели... Да послушайте, милый человек, вы, кажется, еще не проснулись порядком: это бессовестно!.. Слышите: бессовестно... Я с четырех часов утра колочусь, как каторжный, а вы тут прохлаждаетесь. Вы посмотрите хоть на нашу пристань – ведь это целый ад, пекло какое-то... Ох, подлецы, подлецы!!!

– Кто это провинился так?

– Как кто? А бурлаки? Ведь их четыре тысячи, анафем, а у меня горло одно... Понимаете: одно! Сразу охрип... Ох, моченьки моей не стало с этими мошенниками!..

Осип Иваныч энергично вытер свое вспотевшее румяное лицо бумажным платком, поправил спутавшиеся на голове редкие русые кудри, закрывавшие на макушке порядочную лысину, и залпом опрокинул две рюмки водки из графина, который стоял на угловом сто-

лике. Приземистая широкоплечая фигура Осипа Иваныча с красным затылком и высокой грудью служила как бы олицетворением преисполнявшей его энергии; выкатившиеся карие глаза с опухшими красноватыми веками смотрели блуждающим, усталым взглядом, как у человека, который только что сейчас вырвался из жестокой свалки. Русая борода и большие усы носили следы самого бесцеремонного обхождения: Осип Иваныч, когда начинал сердиться, немилосердно ерошил свою бороду и грыз усы, а так как сердиться ему решительно ничего не стоило, то бороде и усам доставалось порядком.

– Ох, подлецы! – ворчал Осип Иваныч сквозь зубы, с ожесточением прожевывая сухую корочку хлеба. – Аспиды!..

– Да чем они вас так обидели, Осип Иваныч?

– Как чем?.. Сегодня какой день... а? – грозно приступил он ко мне, размахивая руками. – Какой день?

– Кажется, двадцать третье апреля...

– Вот то-то и есть: «кажется»... Вы бы в моей коже посидели, тогда на носу себе заруби-

ли бы этот денек... двадцать третьего апреля – Егория вешнего – поняли? Только ленивая соха в поле не выезжает после Егория... Ну, обыкновенно, сплав затянулся, а пришел Егорий – все мужичье и взбеленилось: подай им сплав, хоть роди. Давеча так меня обступили, так с ножом к горлу и лезут... А я разве виноват, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустив еще две рюмки, Осип Иванович совсем другим тоном проговорил:

– Пойдемте со мной, посмотрите, как мы в смоле кипим. Сначала надо завернуть в кабак...

– Зачем?

– Народ гнать на работу. Только отвернись – сейчас в кабак... Я вам говорю: разбойники и протоканальи! А всех хуже наши каменские... Заберут задатки и в кабак, а там как хочешь и выворачивайся, хоть сам сталкивай барки в воду да грузи!..

В передней мы натолкнулись на мужика в разорванной красной рубаше; одной рукой он держался за стену, стараясь сохранить равновесие. По красному лицу и блуждающему

взгляду мутных глаз можно было принять этого мужика за труднобольного, если бы от него не отдавало на целую версту специфическим ароматом перегорелой водки.

– Это ты, Савоська? – окликнул мужика Осип Иваныч.

– А то как же... я... я!..

– Чего тебе надо?

Мужик только что раскрыл рот для необходимых объяснений, как Осип Иваныч уже обрушился на него с необыкновенным азартом:

– Да ты где, каналья, шары-то[1] налил?... а?! С какой радости... а?! Люди работают, над- рываются, а он...

– Осип Иваныч... дай опохмелиться!

– Чего?

– Опохмел...

– Вот тебе опохмелиться, а вот закусить! – крикнул Осип Иваныч, схватывая Савоську за ворот и ловким подзатыльником выталкивая за дверь.

Мужик только загремел ногами по лестнице и кубарем выкатился на улицу, к удивлению толпившегося около дома народа.

– Гли, робя: Савоську опохмелили! – слы-

шался из толпы чей-то веселый голос. – Ай да Осип Иваныч! уважил! Хороший стаканчик поднес!

– Видели? – спрашивал Осип Иваныч с улыбкой.

– Да...

– А между тем этот Савоська один из лучших сплавщиков у нас... Золото, а не мужик. Только вот проклятая зараза: как работа, так он без задних ног. Чистая беда с этими мерзавцами!

Когда мы вышли на улицу, Савоська писал мыслете,[2] по самой середине улицы, сдвинув свою рваную шляпенку на одно ухо. Это был красивый мужик лет сорока с широким бородатым лицом и русыми кудрями, которые лезли из-под шляпенки во все стороны шелковыми кольцами. Он пробовал было затянуть песню, но выходило какое-то дикое мычание, и Савоська принялся ругаться в пространство, неровно взмахивая руками. Оглянувшись, он заметил Осипа Иваныча, остановился, подпер руки фертom[3] и, пошатываясь, закричал:

– А я тебе... покажу, Оська!.. Подвяджу куф-

той хвост-от... Веррно!..

– Ты у меня еще поразговаривай! – закричал Осип Иваныч.

– А мне плевать на тебя... Слышал?.. Плев...

Осип Иваныч ринулся вперед, но Савоська уже летел далеко впереди на всех рысях, потеряв свою шляпу.

– Прямо в кабак, шельмец, задул! – ругался Осип Иваныч, подбирая Савоськину шляпу.

Осип Иванович служил на пристани приказчиком. Это был русский человек в полном смысле слова: бесхарактерный, добрый, вспыльчивый. Он обладал счастливой способностью с совершенно спокойной совестью ничего не делать по целым месяцам и просто лез на стену, когда наваливалась работа. Во время сплава он собственно был золотой человек, потому что лез из кожи в интересах транспортного общества «Нептун», которое отправляло металлы с Каменки, но, как часто бывает с такими людьми, от его работы выходило довольно мало толку. Осип Иванович без всякого пути разносил в щепы совершенно невинных людей, также без пути снисходил к отъявленным плутам и завзятым мошенникам и в конце концов был глубоко убежден, что без него на пристани хоть пропадай.

– Я их всех насквозь вижу, разбойников, – уверял он, когда мы шли по широкой улице к кабаку. – Это варначье только меня и боится; у меня разговор короткий: раз-два и к черрту!! Они меня знают! Да вон посмотрите, как

зашевелились у кабака: завидели грозу... Ха-ха!

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули за угол. Попадавшие на пути избы производили хорошее впечатление своими толстыми бревнами, крепкими воротами, крытыми наглухо, по-раскольничьи, дворами и белыми кирпичными трубами; известное довольство сказывалось во всем, начиная с тесовых крепких крыш и кончая стекольчатыми окошками и расписными ставнями. На берегу и около домов – везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азиях[4] и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

– Ишь молодцы, только что явились на сплав! – ругался Осип Иванович, когда попадались бурлаки с котомками. – Ужо я вам покажу кузькину мать!..

– А что же вы им сделаете?

– Я?! У нас, голубчик, все это оформлено:

просрочил явку на пристань – штраф; не явился на спишку[5] барок – штраф; не пришел на нагрузку – штраф...

Дорогу нам загородила артель бурлаков с котомками. Палки в руках и грязные лапти свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испытанными лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали в дороге. Вперед выделился сторбленный седой старик и, сняв с головы что-то вроде вороньего гнезда, нерешительно и умоляюще заговорил:

– Осип Иванович! Мы уж к твоей милости...

– Откуда вы?

– Вятские мы, родимой мой, вятские...

– Ты не в первый раз на сплав пришел?

– Нет, не в первой... Раз с двадцать, может, уж сплыл.

– Ну, так чего тебе от меня нужно?

– Да вот запоздали мы, Осип Иванович... Грех такой вышел; непогодье нас захватило, а дорога дальняя.

– Знать не хочу... Вздор!.. Что у тебя в контракте сказано... а?.. – заорал Осип Иванович,

выкатывая глаза. – Я, что ли, буду сталкивать да грузить барки за вас?.. Задатки любите получать?! а?!

– Да ведь задатки в волость пошли, за подушное... – как-то равнодушно оправдывался старик, совсем подавленный величием обступивших его нужд. – Подушное, Осип...

– А мне плевать на ваше подушное! Знать не хочу!! Просрочил трое суток – за трое суток и штраф по контракту...

– Осип Иваныч, родимой! Мы ведь тысячу верст с залишком брели сюды... изморились! А тут ростепель захватила...

– Вздор!.. Я не бог... понимаешь? Я не бог...

Старик только махнул рукой и пожевал сухими синими губами. Артель стояла как вкопанная; на изветрившихся лицах трудно было прочесть произведенное этой сценой впечатление. Старик, перебирая в руках свое воронье гнездо, что-то хотел еще сказать, но Осип Иваныч уже бежал к кабаку и с непечатной руганью врезался в толпу. Около кабака народ стоял стеной; звуки гармоники и треньканье балалаек перемешивались с пьяным говором, топотом отчаянной пляски и

дикой пьяной песней, в которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудела, когда Осип Иваныч ворвался в самый центр и с неистовым криком принялся разгонять народ.

– Аспиды! Разбойники! Мошенники!! – ревел Осип Иваныч, как сумасшедший, не зная, на кого броситься; по пути он сыпал подзатыльниками и затрещинами.

Савоська выглянул из-за косяка кабацкой двери и быстро спрятался; на его месте показалась согнутая фигура заводского мастера с запеченным лицом и слезившимися глазами.

– Осип Иваныч! Ты неправильно нас обиждаешь, – говорил он, когда Осип Иваныч протолкался сквозь густую толпу до самых дверей. – Севодни наш день, а завтра – твой... Мы тебе отробим, все отробим, а ты нас не тронь...

– Ах ты...

Мастеровой вылетел из кабака от одного удара могучей десницы Осипа Иваныча, а за ним вслед, как вилок капусты, полетел Савоська и растянулся плашмя на земле.

Пока Осип Иваныч совершал свои подвиги, записные пьяницы успели попрятаться за углами ближайших изб, чтобы опять забраться в кабак, когда гроза пронесется. Другие делали вид, что идут к гавани, но, завернув за угол первой улицы, совершали обходное движение, чтобы попасть в кабак с противоположной стороны. В числе последних был и Савоська в компании с ругавшимся и запеченым мастеровым, захватив по пути каких-то самых подозрительных девиц в коротких сарафанах и ярких платках на голове. В этой толпе женские лица попадались только в качестве исключений; домовитые хозяйки были завалены работой по горло, потому что нужно было прокормить чем-нибудь эту трехтысячную голодную толпу. Конечно, бурлацкое брюхо не отличается особенной прихотливостью, но и оно боится пустоты.

После долгого неистовства верного служакки музыка и песни смолкли, и толпа кабацких завсегдатаев медленно начала расходиться, потянувшись длинным хвостом к гавани.

— Вы посмотрите только, что это за народ! — кричал Осип Иваныч, выскакивая из кабака

уже без шапки. – Мошенник на мошеннике... И все наши каменные, либо заводские! Уж только и наррродец...

Действительно, большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменные бурлаки и заводские мастеровые. И тех и других отличишь сразу. Для них весенний сплав – разливное море, вечный праздник. Каменные славятся по всей Чусовой как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих Каменных не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это последний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и мало-мальски приличным чекменем, он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима,

когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съёмке обмелевших барок и самое крошечное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в Пермь, – все это взятое вместе создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки – праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменных своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо, и ходит черт-чертом. Впрочем, на сплав идут с заводов только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное – нечем платить подати.

– Много у вас заводских? – спросил я Осипа Иваныча, когда он несколько отдышался после горячей сцены у кабака.

– Достаточно и этих подлецов... Никуда не

годен человек, – ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам ведь с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса[6] да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно – вот и бредут к нам. Все же хоть из-за хлеба на воду заработает.

– А сколько вы платите бурлакам за сплав?

– Рублей восемь, десять, смотря по контрактам. У нас ведь круговая порука: артелями нанимаем. Один из артели не явился – вся артель в ответе.

– Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

– Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получать, только взять-то с них нечего. А без артели – беда! Чуть запоздал сплав – все расползутся, как тараканы.

От кабака мы пошли к караванной конторе. По пути нам попадались те же кучки бурлаков, которые росли и увеличивались с каждым шагом, пока не перешли в сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденные лица, пасмурные взгляды и усталые движения совсем не гармонировали с ликующим солнечным светом и весенним теплом, которое гнало с гор веселые, говорливые ручьи.

– Осип Иваныч, ослобони! – взмолился было давешний седой старик, выступая из толпы.

– Нет, друг мой, не могу: у меня слово – закон! – отрезал неумолимый Осип Иваныч, торопливо шагая к караванной конторе.

Сейчас под утором, где начиналась плотина гавани, стояла пыльня. Подавленный визг пил и какой-то особенный, хриплый звук разрезываемого сырого дерева мешался с всплесками и шумом вырывавшейся из-под водяного колеса воды. Пахло смолистым ароматом свежей сосны и елей, которые с хрипением умирающего вылезали из-под станка белыми

правильными полосами досок. На плотине бурлаки смешались в сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться с большими усилиями, причем Осип Иваныч обратился опять к помощи самых отборнейших ругательств, выбор которых у него был замечательно разнообразен и приводил в изумление даже бурлаков.

– С этим народом иначе невозможно, – объяснял он, когда мы, наконец, продрались в караванную контору, где Осипа Иваныча уже дожидалось много народа. – Ох, смерть моя! – стонал он, не зная, кому отвечать. – У кабака с Каменскими да с мастеровыми горло дери, а здесь мужичье одолевает.

Толпа колыхалась и гудела, как пчелиный улей. Здесь действительно собрались все крестьяне, пришедшие на пристань из Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Кого-кого тут не было!.. Но на всех лицах в выражении глаз сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верст на сплав горькой, неотступной нуждой. Здесь не было и помину о той отчаянности, какой выделялись каменные бурлаки, не было и

своеобразного шика заводских мастеровых: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаков в один могучий стройный аккорд. Во всех взглядах можно прочесть одну мысль – мысль о земле, которая в такую горячую вешнюю пору сиротеет где-нибудь за тысячу верст. Общий интерес придавал этому оторванному от родной земли уголку крестьянского мира совершенно своеобразную физиономию: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, от которой давно «ослобонились» мастеровые и разный другой сброд, какой набирается на сплав. Они подавляли молчаливым величием крикливые «качества» вырванных из земли с корнем людей, индивидуализированных в духе известной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой взлохмаченный мужичонка в лаптях и в широком халате, какие носят только вятские. Он терпеливо и покорно выждал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

– А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иваныч быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

– Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! – завопил он, с бешенством накидываясь на несчастного мужика. – Ну чего тебе от меня нужно... а?.. Ну говори, говори, не тяни за душу!

– Вторую неделю проживаемся на пристани... – спокойно отвечал мужик, переминаясь. – Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то в лежку лежат: огневица прихватила.

– Ну и пусть лежат, я-то чем виноват... а?.. Я разве бог?.. Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

– А я к тому говорю, что кабы артель не выворотилась в деревню...

– Ах ббожже ммой!! А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «Обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата в размере...»

– Оно тошно што, оно по кондракту, Осип Иваныч... и обязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а

через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иваныч, как бы со сплавом не выворотилась.

– Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! – горячился Осип Иваныч, начиная жестикулировать самым решительным образом. – «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась»!.. Мошенники!.. Ты первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

– Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, – точно вслух думал бунтовщик.

– А ты все свое долбишь! а? – грозно зарычал Осип Иваныч, бросаясь с кулаками на бунтовщика. – Если ты мне еще раз покажешь свою рожу... да я... Ну купи, черт ты этакий, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабаке бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иваныч, наконец, не вытерпел и вы-

гнал бунтовщика из конторы в шею.

– Зачем вы его выгнали? – спросил я. – Ведь он совершенно верно говорил все...

– А я разве спорю, что не верно? Только он заключил контракт и должен его выполнить... А выгнал я его потому, что этот мужичонка-коновод расстраивает других. Таких молодцов на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули. Да вон и другой лезет... Ах боже ммой!!

Каменская караванная контора представляла собой красивое двухэтажное здание с мезонином и широким железным балконом, выходившим прямо на реку. Во втором этаже была квартира караванного, Семена Семеныча, а в нижнем, в одной громадной комнате, помещалась собственно караванная контора, которая, как и все конторы, отличалась страшнейшим беспорядком, канцелярски-промоглым воздухом и специально деловой пылью и грязью. Двери, письменные столы, стулья, деревянная решетка, которой отгораживалось отделение для проходящих, – все было захватано сальными, потными руками, и в некоторых местах жирная грязь ско-

пилаась в толстые черные полосы. За двумя длинными столами помещались служащие, обложенные кипами бумаг; у самой решетки, за отдельным столиком, сидел кассир, старик лет под шестьдесят, с выбритым деревянным лицом и старинными очками в серебряной оправе на носу. Он методически, как заведенная машина, опускал правую руку в железный ящик, брал ассигнацию, большей частью рубль, и мельком взглянув на предъявленный бурлаком контракт и расчетную книжку, передавал ее в мозолистые, корявые руки. Бумажка завертывалась в какую-нибудь тряпицу или в пестрядевый кисет и затем исчезала за пазухой или за голенищем или просто уносилаась из конторы в крепко сжатой руке. Перед кассиром дефилировал бесконечный ряд бурлацких лиц и лохмотьев.

– Эти все штраф заплатят? – спрашивал, сидя на окне, жирный подрядчик с толстой шеей.

– Да, запоздали... – весело отвечал молодой служащий с румяным лицом и белокурой шевелюрой. – Рубль штрафа, за каждый просроченный день...

– А Осип-то Иваныч как поправляется с бурлачиной! – лениво протянул подрядчик, закуривая крючок из махорки. – Он у вас теперь вроде как главнокомандующий... Ишь так петухом и наступает, так и наступает!.. Только и пасть же уродил ему господь: труба трубой.

Служащие переглянулись и засмеялись. В углу на скамейке дремал оренбургский казак с нагайкой через плечо; фуражка с голубым околышем сбилась на одну сторону, по безумому молодому лицу бродило много мух. Два других казака, сидя рядом на подоконнике, играли в «хлюст». Это была стража при станом, который обязательно является на каждый сплав для устранения недоразумений. Когда Осип Иваныч, окруженный бурлаками, начинал голосить особенно неистово и с отчаянием вздымал обе руки к небу, казаки вскакивали с подоконника и на минуту вытягивались в струнку.

– Тьфу!! Черт вас всех возьми... Провалитесь вы совсем! – ругался Осип Иваныч, задыхаясь от жары.

В конторе было страшно накурено, и сгу-

щался тот специфический миазм, какой приносит с собой в комнату наш младший брат в лаптях. А в большие запыленные окна гляделось весеннее солнышко, полосы голубого неба, край зеленого леса. Я поскорее вышел на крыльцо, чтобы дохнуть свежим воздухом.

Около конторы народ по-прежнему стоял стена стеной, и по-прежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Иванычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

– Ну чего, дядя Силантий? – спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

– По кондракту, говорит... – ответил дядя Силантий, почесывая за ухом.

– Выворотимся! – решил плечистый мужик в рваном зипуне.

– Надо обождать, – заметил Силантий. – Много ждали, маленько обождем.

Толпа загалдела. На ходака посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук. К этой артели присоединились другие, и в воздухе поднялся какой-то стон от взрыва

общего негодования. Тут же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже галдели и ругались, размахивая руками.

– Ну вас к богу совсем! – проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. – Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплаву прибежишь, – заметил он, вынимая из котомки берестяной бурак.

– И пусть спускают, – горячился белобрысый парень. – Я сам-сем в семье, а ежели пашню пропущу из-за вашего сплаву – все по миру пойдут... это как?..

– А так... Осип Иваныч рассказывает: «Купи, говорит, гармонь али балалайку и наигравай...» Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, ужо закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

– Зачерпни-кось водицы, Митрей, бурачком-то!

Пока Митрий ходил с бураком за водой, Силантий неторопливо развязал небольшой

мешок и достал оттуда пригоршню заплесневелых, сухих, как камень, корок черного хлеба.

– Что, плохи сухари-то? – спросил я Силантия.

– А какие есть, барин. И этих едва раздобылся: все приели бурлаки на пристани. Пристанские-то бабы денежку наживают около нашего брата. С лета начинают копить пищу про бурлаков, значит, к внешнему сплаву. Корочка хлебушка завалялась, заплесневела, огрызок ребятишки оставили – все копят бабы, потому бурлаки съедят все, только бы хлебушком пахло. Тоже вот которая редька тронется, подрябнет, кислы[7] испортятся, картошка почернеет – все берегут для нас, а мы им за это деньги платим. Из дому не понесешь за тыщу-то верст...

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченного, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали есть свое импровизированное кушанье в его

настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная крыса – и та отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

– Вы издалека? – спросил я, когда бурлаки выхлебали из бурака остатки мутной воды с плававшей плесенью, мелкими крошками и опять помолились.

– Дальние будем; дальние, барин. Из-под Лаишева пришли... – отвечал Силантий, надевая шапку. – Ну, Митрей, на седни потрапезовали, а к завтра тебе промышлять пропитал... Дойди до деревни, может, найдешь где еще корочек-то.

Молодой мужик переминался и не шел.

– Што не идешь? Видно, в кармане пусто... Эх ты, горе липовое! У меня тоже не густо денег-то: совсем прохарчились на этой треклятой пристане, штобы ей пусто было...

Дядя Силантий из глубины пазухи добыл пестрядевый мешочек, бережно его развязал и высыпал на ладонь несколько медяков.

– Все тут. На, сходи к бабам, поищи.

Конфузливо собрав деньги с ладони дяди

Силантия, Митрий исчез в толпе.

– Зачем вы нанимаетесь на сплав? – спрашивал я Силантия.

– Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас... подати справляют... Ну, а где взять? А караванные приказчики уж пронюхают, где недород, и по зиме все деревни объедут. Приехали – сейчас в волость: кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас кондракт... За десять-то рублей ты и должен месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барке сбежать к Перме али дальше, как подрядился по кондракту.

– Ведь это для вас невыгодно?

– Какое выгодно! Нож вострой нам эти сплавы, вот што! Рассуди сам: сам теперь я из дому должен выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

– Почти два с половиной месяца...

– Так, а другой раз и все три. А деньги-то,

из десяти-то рублей, семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубля получим, когда караван привалит к Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и придется, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины,[8] в дороге проносишь, сколько обуя[9] а пить-есть само собой... Вот Осип Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опущу, – ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то сам-сем: вот тебе и гармонь!

– Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

– На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойский, домашний хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

– Все-таки рубль на три месяца...

– Это еще што! И рупь деньги! А ты вот по-

суди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул – того похоронят на бережку, а какого тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда-бедовенная!

– А тебе случалось так уходить со сплавом?

– Нет, меня господь миловал, а другие много приходят домой чуть не под Петров день... Ей-богу! Ведь это мужику разор, всю семьюшку измором сморишь!

– Чем же бурлаки питаются, когда бредут домой с разбитой барки?

– А бог?..

Последнее было сказано с такой глубокой верой, что не требовало дальнейших пояснений. Я долго смотрел на убежденное, спокойное выражение облупившегося под солнцем лица Силантия, на его песочную бороденку и крошечные слезившиеся глазки; от этого лица веяло такой несокрушимой силой, перед которой все препятствия должны отступить.

Наш разговор и мои размышления были прерваны появившейся ватагой пьяных бур-

лаков, которая валила к конторе с песнями и пляской, диким гиканьем и присвистом.

– Ишь как камешки да мастеровые разгулялись, – задумчиво проговорил Силантий. – Им што: сполагоря – весь тут. Получил задаток и гуляй... Самый бросовый народ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, окромя кабака... Ох-хо-хо!.. Мы каменных бурлаков камешками зовем, барин...

– Да и они тоже не от радости в кабак идут, Силантий.

– Может, и так, кто их знает, а я к тому вымолвил, што супротив наших деревенских очень уж безобразничают. Конечно, им на сплав рукой подать, и время они никакого не знают...

IV

Я долго бродил по пристани, толкаясь между крестьянскими артелями и другим бурлацким людом. Шум и гам живого человеческого моря утомили слух, а эти испытые лица и однообразные лохмотья мозолили глаза. Картины и типы повторялись на одну тему; кипевшая сумятица начинала казаться самым обыкновенным делом. Сила привычки вступала в свои права, подавляя свежесть и ясность первого впечатления.

После обеда, когда я успел немного отдохнуть от вороха воспринятых ощущений, я опять отправился бродить по пристани, только на этот раз пошел не к караванной конторе, а в противоположную сторону, по нагорному берегу Чусовой, где виднелись сплавные избы и толпы бурлаков не были так густы. Между прочим, здесь мне кинулись в глаза несколько бурлацких групп, которые отличались от всех других тем, что среди них не слышалось шума и говора, не вырывалась песня или веселая прибаутка, а, напротив, какая-то мертвая тишина и неподвижность де-

лала их заметными среди других бурлаков. Кроме рваных овчинных полушубков, серых кафтанов и лаптей, здесь попадались белые войлочные шляпы с широкими полями, меховые треухи, оленьи круглые шапки с наушниками и просто невообразимая рвань, каким-то чудом державшаяся на голове. Обладатели этих треухов, белых шляп и оленьих шапок совсем не принимали никакого участия в общем шуме и гвалте, а боязливо держались поодаль от остальных бурлаков. По всему было заметно, что эти люди чувствовали себя совсем чужими в этом разгулявшемся море, а сознание своей отчужденности заставляло их сбиться в отдельные кучки.

– И уродит же господь-батюшко эку страсть! – богобоязливо и с заметным отвращением говорила какая-то старушонка, тащившая к гавани решетку с свежими калачами.

Несколько мальчишек образовали около молчаливых людей две-три весело смеявшихся шеренги; мальчишки посмелее пробовали заговорить с ними, но, не получая ответа, ограничивались тем, что громко хохотали и

указывали пальцами.

– Гли, робя, шапка-то как на ем! – резко выкрикивал босой мальчуган, вытирая нос рукавом рубахи. – Как мухомор... А глаза узенькие да чернящие! Страсть!

– А у другого-то, робя, ременный пояс и скобка прикована к поясу... Дядя, на что скобку приковал?

– Это бороться, надо полагать.

– Врешь. Они топоры в скобках носят... Гли-ко, огниво у каждого! Тоже вот нехристи, а огонь любят.

Эти странные, молчаливые люди – инородцы, которых на каждый сплав собирается из разных мест Урала иногда несколько сот. Были тут башкиры из Уфимской губернии, пермяки из Чердынского уезда, вогулы из Верхотурского, зыряне из Вологодской губернии, татары из Кунгурского уезда и из-под Лаишева. Из-под белых войлочных шляп сверкали черные с косым разрезом глаза кровных степняков цветущей Башкирии; из-под оленьих шапок и треухов выглядывали прямые жесткие волосы с черным отливом, а приподнятые скулы точно сдавливали глаза в узкие

щели. Белобрысые пермяки с бесцветными, как пергамент, лицами, серыми глазами и неподвижно сложенными губами казались еще безжизненнее и серее рядом с пронырливыми и хитрыми зырянами. Основные типичные черты монгольского типа перемешались здесь с финскими, и, право, трудно было решить, кто из них был жалче. Русская бедность и нищета казались богатством по сравнению с этой степной голытьбой и жертвами медленного вымирания самых глухих лесных дебрей. Как ни беден русский бурлак, но у него есть еще впереди что-то вроде надежды, осталось сознание необходимости борьбы за свое существование, а здесь крайний север и степная Азия производили подавляющее впечатление своей мертвой апатией и полнейшей беспомощностью. Для этих людей не было будущего: они жили сегодняшним днем, чтобы медленно умереть завтра или послезавтра.

Живее других казались башкиры и татары, которые поэтому и сосредоточивали на себе особенное внимание мальчишек.

— Сплав гулял, вода ташшил, барка кун-

чал... – задорно поддразнивал какой-то бело-головый мальчуган.

Моя попытка разговориться с этими дикарями кончилась полной неудачей и вызвала только неумолкаемый смех маленькой веселой публики. При помощи трех слов: «гулял», «ташшил» и «кунчал» трудно было разговориться с незнакомыми людьми, а пермяки и этого не знали. Один, впрочем, как-то апатично произнес одно слово: «клэп», то есть хлеб.

– Нянь? – спросил я.

– Нянь, нянь... – ответил пермяк и даже не удивился, услышав свое родное слово; по-пермяцки «нянь» значит хлеб.

Других пермяцких слов в моем лексиконе не оказалось, и я расстался с молчаливыми людьми, приговоренными историей к истреблению. Но эти лица и это единственное русское слово «клэп» все время не выходили у меня из головы. Какая сила выбила этих людей из их дремучих лесов и привольных степей и выкинула сюда, на берег далекой горной реки? Ответ, конечно, один: нужда, которая в лесу и степи еще страшнее и беспощаднее, чем по городам и селам. Как солнечная

теплота, заставляя таять зимний снег, собирает воду в известные водоемы, так и нужда стягивает живую человеческую силу в определенные боевые места, где не существует разницы племен и языков. Наблюдая этих позабытых историей людей, эту живую иллюстрацию железного закона вымирания слабейших цивилизаций под напором и давлением сильнейших, я испытывал самое тяжелое, гнетущее чувство, которое охватывало душу мертвящей тоской. Ведь вся история человечества создана на подобных жертвах, ведь под каждым благодеянием цивилизации таятся тысячи и миллионы безвременно погибших в непосильной борьбе существований, ведь каждый вершок земли, на котором мы живем, напоен кровью аборигенов, и каждый глоток воздуха, каждая наша радость отравлены мириадами безвестных страданий, о которых позабыла история, которым мы не приберем названия и которые каждый новый день хоронит мать-земля в своих недрах...

Вечер этого шумного дня мне привелось провести в караванной конторе, где, в квартире поверенного от общества «Нептун», собралась веселая компания.

Квартира занимала второй этаж; светлая высокая гостиная была убрана с роскошью, хотя бы и не для Каменки. Мягкая мебель, драпировки на окнах, ковры, бронза – одним словом, все было убрано во вкусе той буржуазной роскоши, какую создает русский человек, когда чувствует за собой теплое и доходное местечко. Правда, поговаривали, что дела компании «Нептун» в очень незавидном положении, но у нас уж как-то так на Руси устроилось, что чем плоше дела какого-нибудь предприятия, тем вольготнее живут его учредители, члены, поверенные, контролеры, ревизоры и прочая братия, питающаяся от крох падающих. Специально о караванных конторах на Урале существует что-то вроде математической аксиомы: стоит только попасть поближе к каравану, и все блага сего грешного мира повалятся на такого мудреца.

Если вы удивитесь, что такой-то ничего не имел несколько лет назад и был беден, как церковная мышь, а теперь ворочает десятками тысяч собственного капитала, имеет несколько домов в Перми или в Екатеринбурге, вам совершенно серьезно ответят стереотипной фразой: «Да ведь он служил в караване...» Дальнейших пояснений не требуется все равно как для человека, побывавшего в Калифорнии, сопричисленного к интендантскому ведомству или ограбившего какой-нибудь банк. Для меня эти караванные метаморфозы всегда составляли неразрешимую задачу, и я упомянул о них только между прочим, потому что в экономической жизни Урала вообще встречается очень много самых непонятных феноменов.

– Шшш... – встретил меня многознаменательным шипением караванный поверенный, умоляюще воздевая руки кверху.

– Кто-нибудь болен, Семен Семеныч? – поспешил я осведомиться.

– О нет... Все, слава богу, здоровы; только в кабинете у меня сам отдыхает.

– Кто сам?

Поверенный назвал фамилию одного из членов-учредителей общества «Нептун», пользовавшегося между Нижним и Екатеринбургом громкой репутацией финансовой головы и великого промышленного дельца. Сам поверенный, которого я встречал на горных заводах, был одной из тех неопределенных и бесцветных личностей, которыми особенно богато наше время; они являются неизвестно откуда, по каким-то таинственнейшим протекциям занимают самые теплые местечки, наживают кругленькие капиталы и исчезают неизвестно куда. Каменский караванный принадлежал именно к этому сорту людей, и в крайнем случае о нем можно сказать только то, что одевался он совершенно безукоризненно, обладал счастливым аппетитом и любил угостить. Как известно, на угощение русский человек необыкновенно падок, и бесцветные люди отлично пользуются этой кровной чертой славянской натуры.

Мы на цыпочках прошли в следующую комнату, где сидели два заводских управителя, доктор, становой и еще несколько мелких служащих. На одном столе помещалась бата-

рея бутылок всевозможного вина, а за другим шла игра в карты. Одним словом, по случаю сплава всем работы было по горло, о чем красноречиво свидетельствовали раскрасневшиеся лица, блуждающие взгляды и не совсем связные разговоры. Из опасения разбудить «самого» говорили почтительным полусшепотом.

– Слышите, что делается? – говорил поверенный, указывая мне движением головы на окно, откуда доносился глухой гул от собравшихся вокруг конторы бурлаков. – Чистая беда!

Вся обстановка и выражение лиц собравшейся компании как-то не вязались с этим отчаянием.

– Конечно, вам легко рассуждать, – вступился один из управителей, – ваше дело сторона, а вот посадить бы на наше место... Чей ход, господа?..

– Господа, нужно промочить горлышко, – суетился поверенный, разливая вино по рюмкам. – Авось Чусовая скорее пройдет...

Все, конечно, поспешили на помощь застоявшейся Чусовой. В углу сидел заводский док-

тор и, видимо, дремал; я присоединился к нему.

– Много больных на пристани? – спросил я.

Доктор с недоумением посмотрел на меня, пожевал губами и с уверенной улыбкой проговорил:

– Вы лучше спросите, чем они живы, эти бурлаки... Помилуйте! Каждая лошадь лучше питается, чем весь этот народ. А работа? Да это чистейший ад... Тиф, лихорадка, – так и валяются десятками!

– Больница есть?

Доктор только махнул рукой и опять задремал.

Игра, несмотря на предупредительное шипение хозяина, разгоралась. Кучки денег на зеленом столе росли, а с ними росло и оживление игроков. Особенно типичны были управители, которые живут на Урале, как помещики. Это совершенно особенный тип, создавший кругом себя новое крепостное право, которое отличается от старого своими изящными, но более цепкими формами. С каждым годом заводскому населению приходится тяжелее, а параллельно с этим возвышается

благосостояние управителей, управляющих, поверенных и целого сонма служащего люда. Как это происходит – мы поговорим в другом месте, а теперь ограничимся только указанием на существующую аналогию плохого положения компании «Нептун», бурлаков и процветания администрации. Вероятно, это странное явление можно подвести под самый простой закон переливания жидкости из одного сосуда в другой: что убыло в одном, то прибыло в другом.

Один из управителей, еще молодой господин, с жирным лицом и каким-то остановившимся взглядом, выглядывал настоящим американским плантатором; другой, какой-то безымянный немец, весь красный, до ворота охотничьей куртки, с взъерошенными волосами и козлиной бородкой, смахивал на берейтора или фехтовального учителя и, кажется, ничего общего с заводской техникой не имел. Немец хлопал рюмку за рюмкой, но не пьянел, а только начинал горячиться, причем ломанные русские фразы так и сыпались у него из-под лихо закрученных рыжих усов.

– Пастаки!.. – постоянно повторял немец,

когда у него убивали карту. – Сукина сына, туда твой дорог... Швинья – карт!

Служащие помельче сбились в самый дальний уголок и там потихоньку перешептывались о своих делах. К заветному столику с винами они подходили не иначе, как по приглашению хозяина.

– Егор Фомич изволят шевелиться... – змеиным сипом докладывал хозяину какой-то господин, нечто среднее между служащим и лакеем.

– Шш... – зашипел опять хозяин, а потом, обратившись к «среднему», категорически объявил: – У меня смотреть в оба! И ежели где-нибудь что-нибудь пошевелится или застучит – ты в ответе... Понял?

«Среднее» исчезло, чтобы через пять минут опять появиться в дверях.

– Егор Фомич изволили проснуться...

Это известие всех заставило встряхнуться и принять надлежащий вид. Руки как-то сами собой застегивали пуговицы у сюртуков и визиток, поправляли галстуки, лезли в карман за носовыми платками, и соответственно этому слышались глубокие вздохи, осторожные

покашливания, – словом, производились все необходимые действия, соответствующие величию Егора Фомича.

– Господа! Пожалуйте в залу! – пригласил всех хозяин. – Егор Фомич, вероятно, будут сейчас кушать чай.

В светлой зале за большим столом, на котором кипел самовар, ждали пробуждения Егора Фомича еще несколько человек. Все разместились вокруг стола и с напряженным вниманием посматривали на дверь в кабинет, где слышались мягкие шаги и легкое покашливание. Через четверть часа на пороге, наконец, появился и сам Егор Фомич, красивый высокий мужчина лет сорока; его свежее умное лицо было слегка помято недавним сном.

– Не помешали ли вам отдыхать, Егор Фомич? – суетился поверенный, забегаая петушком перед «самим».

– Ах нет, прекрасно выспался, – небрежно ответил Егор Фомич, галантно здороваясь с гостями.

С особенным вниманием отнесся Егор Фомич к высокому седому старику раскольни-

чьего склада. Это был управляющий...ских заводов, с которых компания «Нептун» отправляла все металлы. Перед нужным человеком Егор Фомич рассыпался мелким бесом, хотя суровый старик был не из особенно податливых: он так и выглядел последышем тех грозных управителей, которые во времена крепостного права гнули в бараний рог десятки тысяч людей.

– Надеюсь, вы все видели, все наши порядки? – лебезил перед стариком Егор Фомич, заискивающе улыбаясь.

– Да, видел-с... Народ распустили – безобразие! – коротко отвечал старик. – Порядку настоящего нет...

– Ах, Парфен Маркыч, Парфен Маркыч! – взмолился Егор Фомич, делая выразительный жест. – Не старые времена, не прежние порядки! Приходится покоряться и брать то, что есть под руками. Сознаю, вполне сознаю, глубокоуважаемый Парфен Маркыч, что многое выходит не так, как было бы желательно, но что делать, глаза выше лба не растут...

Говорить умел Егор Фомич необыкновенно душевно и вместе уверенно. Голос у него был

богатый, с низкими грудными нотами; каждое слово сопровождалось соответствующим жестом, улыбкой, игрой глаз, отражалось в позе. Одним словом, это был тертый калач, выдавший виды. Семен Семеныч с благоговением заглядывал в рот своему божку и не смел моргнуть. Глядя на бесцветную вытянутую фигуру Семена Семеныча, так и казалось, что она одна, сама по себе, не имела решительно никакого значения и получала его только в присутствии Егора Фомича, являясь его естественным продолжением, как хвост у собаки или как в грамматике прямое дополнение при сказуемом. Бывают такие люди-дополнения, смысл существования которых выясняется только в присутствии их патронов: люди-дополнения, как планеты, в состоянии светить только заимствованным светом.

– Я рад, господа, видеть в вашем лице людей, которые являются носителями промышленных идей нашего великого века! – ораторствовал Егор Фомич, закругляя руку, чтобы принять стакан чая. – Мы живем в такое время, когда просто грешно не принимать участия в общей работе... Помните евангельского

ленивого раба, который закопал свой талант в землю?[10] Да, наше время именно время приумножения... Не так ли, Павел Петрович? – обратился он к становому.

– А... что?.. Так точно-с... – отозвался Павел Петрович, бурбон чистейшей воды.

– Надеюсь, вы не откажетесь в числе других принять участие в общем труде?

– Помилуйте-с, с большим удовольствием!

– И отлично. Значит, вы поступаете в число акционеров нашего «Нептуна»?

– Дда... то есть нет, пока... Вот мы с доктором пополам возьмем одну акцию.

– Я, право, еще не знаю, – отозвался доктор. – Да и денег свободных нет... Нужно подумать...

– Чего же тут думать? – вежливо удивлялся Егор Фомич. – Помилуйте!.. Дело ясно, как день: государственный банк платит за бессрочные вклады три процента, частные банки – пять – семь процентов, а от «Нептуна» вы получите пятнадцать – двадцать процентов...

Управитель-плантатор выразил сомнение относительно такой смелой пропорции, но «сам» не смутился возражением и заговорил

еще мягче и душевнее:

– Я понимаю, что вас, Алексей Самойлович, смутило. Именно, вы сомневаетесь в таком высоком дивиденде при начале предприятия, когда потребуются усиленные затраты, неизбежные во всяком новом деле. Не правда ли?

– Да... Мне кажется, что вы преувеличиваете, Егор Фомич, – возражал Алексей Самойлыч неуверенным тоном. – Когда предприятие окончательно окрепнет, тогда, я не спорю...

– Я то же думаю, – вставил свое слово Парфен Маркыч.

– Ах, господа... А если я ручаюсь вам головой за верность этих пятнадцати – двадцати процентов?

– Но ведь здесь может быть много побочных обстоятельств, – заметил доктор с своей стороны. – Один неудачный сплав, и вместо дивидендов получатся дефициты...

– Совершенно верно и справедливо... если мы будем иметь в виду только один год, – мягко возражал Егор Фомич, прихлебывая чай. – Но ведь в промышленных предприятиях сме-

ты приходится делать на известный срок, чтобы такие случайные убытки и прибыли уравнивали друг друга. Возьмемте, например, десятилетний срок для нашего сплава: средняя цифра убитых барок вычислена почти за целое столетие, средним числом из тридцати барок бьется одна. Следовательно, здесь мы имеем дело с вполне верным расчетом, даже больше, потому что по мере необходимых улучшений в условиях сплава процент крушений постепенно будет понижаться, а вместе с этим будет расти и цифра дивиденда. Только взгляните на дело совершенно беспристрастно и на время позабудьте, что вы намереваетесь записаться в число наших акционеров.

Эта шутка рассмешила всех, даже сам Парфен Маркыч улыбнулся.

– Пастаки! – провозгласил за всех немец, выкатывая глаза. – Барка нэт умер.

Чай незаметно перешел на закуску, а затем в ужин. Будущие промышленные деятели обратили теперь особенное внимание на уху из живых харюзов, а Егор Фомич налег на вина. Шестирублевый шартрез привел станово-

го в умиление, и он даже расцеловал Семена Семеныча, на обязанности которого лежал самый бдительный надзор за рюмками гостей.

– А Чусовая все еще не прошла? – спрашивал Егор Фомич в середине ужина, не обращаясь собственно ни к кому.

– Никак нет-с, – почтительно отвечал Семен Семеныч.

– Гм... жаль! Но приходится помириться, как мы миримся с капризами всех хорошеньких женщин. Наша Чусовая самая капризная из красавиц... Не так ли, господа?

За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский человек, без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить.

– Урал – золотое дно для России, – ораторствовал Егор Фомич, – но ахиллесова пятка его – пути сообщения... Не будь Чусовой, пришлось бы очень плохо всем заводчикам и крупным торговым фирмам. Пятьдесят горных заводов сплавляют по Чусовой пять миллионов пудов металлов, да купеческий караван поднимает миллиона три пудов. Получается очень почтенная цифра в восемь миллионов пудов груза... Для нас даже будущая же-

лезная дорога[11] не представляет ни малейшей опасности, потому что конкурировать с Чусовой – немыслимая вещь.

– О, совершенная пастаки! – подтвердил немец.

– То есть что пустяки: железная дорога или Чусовая?

– Дорог пастаки...

Егор Фомич долго распространялся о всех преимуществах, какие представляет сплав грузов по реке Чусовой сравнительно с отправкой по будущей железной дороге, и с уверенностью пророчил этой реке самое блестящее будущее, как «самой живой уральской артерии».

– Теперь большинство заводов и купечество отправляют грузы в одиночку, – говорил он, играя массивной золотой цепочкой. – Всем это обходится дорого, и все несут убытки только оттого, что не хотят соединиться воедино. Другими словами, стоит передать эксплуатацию всей Чусовой в руки одной какой-нибудь компании, и тогда разом все устроится само собой. Что невыгодно теперь, тогда будет давать дивиденды... Компания ор-

ганизует дело на самых рациональных основаниях, по самым последним указаниям науки и опыта, и все неблагоприятные условия сплава по Чусовой в настоящем его виде падут сами собой, а главное – мы избавимся от разъедающей нас язвы, то есть от необходимости каждый раз нанимать бурлаков из дальних местностей.

– Да, бурлаки – совершенная язва, – почти-тельно вторил Семен Семеныч.

– Но как же вы обойдетесь без рабочих? – спрашивал кто-то.

– Очень просто: мы заменим сплав на потесах сплавом на лотах, тогда рабочих потребуется в пять раз меньше, то есть как раз настолько, насколько могут дать рабочих чусовские пристани и отчасти заводы. Теперь какая-нибудь лишняя неделя – бурлаки бегут, и мы каждым раз должны переживать крайние затруднения, а тогда...

– Но ведь для сплава на лотах потребуется вдвое больше времени, – заметил доктор, – а вода спадает через неделю...

– Мы устроим в верховьях Чусовой громадный водоем и будем сплавлять караван по па-

водку. На помощь главному водоему устроим несколько побочных... Одним словом, с технической стороны все предприятие не представляет особенных препятствий, а вся суть заключается в том, чтобы добиться согласия всех заводчиков – передать сплав грузов в одни руки, а затем привлечь к участию в предприятии общество. Теперь частные капиталы лежат непроизводительно, а тогда они будут давать двадцать – тридцать процентов дивиденда. Все выиграют...

Мы усердно пили шампанское за великую будущность Чусовой, за будущую компанию, за гениальный план Егора Фомича и за него самого.

– Деньги, деньги и деньги – вот где главная сила! – сладко закатывая глаза, говорил Егор Фомич на прощанье. – С деньгами мы устроим все: очистим Чусовую от подводных камней, взорвем на воздух все бойцы, уничтожим мели, срежем крутые мысы – словом, сделаем из Чусовой широкую дорогу, по которой можно будет сплавлять не восемь миллионов груза, а все двадцать пять.

Будущие сподвижники и осуществители

грандиозных планов Егора Фомича только почтительно мычали или издавали одобрительное кряхтение, глупо хлопая осовелыми, помутившимися глазами. Становой несколько раз принимался ощупывать себе голову, точно сомневался, его ли это голова...

— Вам куда? — спрашивал меня доктор, когда мы выходили из конторы.

— Я к Осипу Ивановичу...

— У него остановились? Гм... Нам по пути. Мне еще нужно зайти кое к кому из пациентов.

Мы пошли по плотине к селению. Весенняя белая ночь стояла над горами, над лесом, над рекой. Такие ночи бывают только на Урале. Кто не переживал такой ночи, тому трудно понять ее чарующую прелесть. Тихо, тихо везде; прохваченный весенней изморозью воздух дремлет чутким сном. Далекие горы чуть повиты молочной дымкой. Дремлет темный лес на берегу, дремлет пристань с своими избушками на крутом угоре, дремлет все кругом под наплывом весенних грез. Ручейки, которые днем весело бороздили по всем улицам, разъедая «череп», [12] тоже заснули, превратившись в грязно-бурые полосы и наплывы. Я люблю такие ночи, когда так легко и вольно дышится здоровому человеку. Чувствуешь, как сам оживаешь вместе с природой.

дой и как в душе накаплиется что-то такое хорошее, бодрое, счастливое. Не хочется верить, что эти белые ночи уносят вместе с весенними ручейками столько человеческих жизней – эту неизбежную жертву всякой весны...

Мне доставляет удовольствие присутствие доктора, который шагает рядом со мной; он постоянно спотыкается по своей близорукости, размахивает руками и как-то забавно причмокивает губами. Время от времени он снимает свою баранью шапку и осторожно ощупывает голову, как давеча делал становой.

– Что, доктор? – спрашивал я, удерживаясь от желания пощупать свою голову.

– Это черт знает что такое!.. Мы-то с какой радости пили... а? Вы не акционер «Нептуна»?

– Нет...

– Я тоже... Этот Семен Семеныч подсунул за ужином какую-то такую монашескую специю...

– Шартрез?

– Нет, шартрез само собой: это еще мило-стиво.

Доктор засмеялся. Его добродушное старческое лицо покрылось розовыми пятнами, глаза блестели. Это был типичный представитель тех славных стариков докторов, которые сохранились только еще в провинции.

– Скажите, пожалуйста, доктор, что это за комедия сегодня разыгрывалась в конторе?

– Это вы насчет Егора Фомича?

– Да...

– Гм... Комедия самая обыкновенная: дела «Нептуна» не сегодня-завтра ликвидируются, – вот Егор Фомич и хватается за соломинку, чтобы выплыть. Акционеров вербует...

– Это-то понятно, только он едва ли чего-нибудь добьется. Никто ему не верит, и соглашаются с ним только из вежливости, то есть, вернее сказать, из-за угощения. Я уверен, что Егор Фомич не сбудет ни одной акции...

– Ну, это трудно сказать вперед. Конечно, ему не верят, даже смеются за глаза над ним, а, наверно, кончится дело тем, что все попадут в лапы к этому же самому Егору Фомичу. Такие превращения случаются сплошь и рядом. Меня собственно интересует манера Его-

ра Фомича добывать акционеров: сначала оглушит проектами, а потом навалится с едой... Ведь глупости, кажется, а между тем действует, да еще как действует! Взять теперь хоть Парфена Маркыча – человек замечательно умный, насквозь видит Егора Фомича со всеми его проектами, а все-таки Егор Фомич слопаёт Парфена Маркыча... И ведь как просто: сегодня завтрак, завтра ужин, послезавтра обед – дело и сойдет, как по маслу. Подите вот вы с человеческой природой: против всего человек устоит, а едой его проймут.

– Вы шутите?

– Нет, говорю совершенно серьезно. Вот сами увидите, как Егор Фомич всех обделаёт: и Парфена Маркыча, и Алексея Самойлыча, и Павла Петровича, и, по всей вероятности, ещё многих других. В природе ведь то же бывает: стоит какая-нибудь этакая скала; кажется, и веку ей не будет, а между тем точит ее ручеек, точит-точит – глядишь, наша скала и рухнула. Так и с нашими акционерами: наживаются деньги правдами и неправдами десятки лет, крепятся, скалдырничают, а тут подвернулся Егор Фомич – благоразумный раб и рас-

поясая. Ведь сам не верит ни Егору Фомичу, ни его двадцати процентам, а все-таки идет в ловушку... Черт знает что за глупость!

Мы подошли к квартире Осипа Иваныча.

– Вы спать? – спрашивал доктор, останавливаясь.

– Да.

– В такую-то ночь? Да побойтесь бога, батенька! Это, наконец, бессовестно... Лучше пройдемтесь по берегу, вы погуляете, а я наведу двоих тифозных. Совсем безнадежны... Идет?

– Пожалуй.

– Нет, в самом деле таких белых ночей не много выпадает на нашу долю.

Мы шли по берегу Чусовой, мимо крепких бревенчатых изб, где все покоилось мертвым сном. Где-где глухо брехнет спросонья собака, и опять мертвая тишина кругом; только молодой месяц обливает и лес, и реку, и деревню своим трепетным молочным светом. Теперь пристань походила на громадное поле убиенных, которые там и сям лежали кучками. Ближе эти кучки превращались в груды лохмотьев, из которых выставлялись руки,

ноги и головы. Спавшие люди виднелись везде, под малейшим прикрытием: под навесами изб, на завалинках, за углами, а то и просто на бугорке, который солнце за день успело обсушить и прогреть. Ни дать ни взять – настоящее поле убиенных, на котором не успели даже хорошенько прибрать трупов, а просто, для порядку, стаскали их в несколько куч. Дальше, на самом берегу, красным глазом мелькал огонек, около которого можно было различить несколько неподвижных фигур.

– Где же ваши пациенты? – просил я доктора, когда мы подходили уже к концу деревни.

– А вот сейчас... предпоследняя изба.

У предпоследней избы не было ни ворот, ни крытого сплошь двора, ни хозяйственных пристроек; прямо с улицы по шатавшемуся крылечку ход был в темные сени с просвечивавшей крышей. Огня нигде нет. Показалась поджарая собака, повиляла хвостом, точно извиняясь, что ей караулить нечего, и опять скрылась.

– Осторожнее, здесь нет ступеньки... – предупредил доктор, нащупывая рукой бревенчатую стену.

Он толкнул дверь, и она растворилась черным зияющим пятном, как пасть чудовища.

– Осторожнее, здесь люди... – шептал доктор, чиркая спичкой о двери.

Действительно, весь пол в сенях был занят спящими вповалку бурлаками. Даже из дверей избы выставлялись какие-то ноги в лаптях: значит, в избе не хватало места для всех. Слышался тяжелый храп, кто-то поднял голову, мгновение посмотрел на нас и опять бессильно опустил ее. Мы попали в самый развал сна, когда все спали, как зарезанные.

Доктор зажег стеариновый огарок и, шагая через спавших людей, пошел в дальний угол, где на смятой соломе лежали две бессильно вытянутые фигуры. Наше появление разбудило одного из спавших бурлаков. Он с трудом поднял голову и, видимо, не мог понять, что происходило кругом.

– Это ты, Силантий? – проговорил доктор.

– Я, ваше благородие... я... – отозвался старик, с тяжелым кряхтеньем поднимаясь с пола.

В этой сторбленной старческой фигуре я сразу узнал давешнего бунтовщика Силантия,

который трапезовал с Митрием заплесневыми корочками.

– Ну, что больные? – спрашивал доктор.

– Да кто их знает, ваше благородие, лежат в лежку... Даве Степа-то испить попросил, а Кирило и головы не подымает.

– Да ведь ты спал и, наверно, ничего не слышал?

– Может, и не слышал... – равнодушно согласился Силантий, движением лопаток почесывая спину. – Уж как бог...

– А ты лекарство подавал?

– Подавать-то подавал...

Больные – Кирило, пожилой мужик с пещочной бородой, и Степа, молодой, безусый парень с серым лицом, – лежали неподвижно, только можно было расслышать неровное, тяжелое дыханье. Доктор взглянул на Кирилу и покачал головой. Запекшиеся губы, полуоткрытый рот, провалившиеся глубоко глаза – все это было красноречивее слов.

– Кончается? – спрашивал Силантий также равнодушно.

– К утру будет готов...

– А Степа?

Доктор ничего не отвечал, а только припал головой к больному парню. Когда он взял его за руку, чтобы сосчитать пульс, больной с трудом открыл отяжелевшие веки, посмотрел на доктора мутным, бессмысленным взглядом и глухо прошептал всего одно слово:

– Сапоги...

– Какие сапоги он спрашивает? – шепотом осведомился доктор у Силантия.

– Он так это, ваше благородие... не от ума городит, – объяснял старик. – Ишь втемяшилось ему беспрерывно купить сапоги, как привалим в Пермь, вот он и поминает их... И что, подумаешь, далось человеку! Какие уж тут сапоги... Как на сплав-то шли, он и спал и видел эти самые сапоги и теперь все их поминает. Не нашивал парень сапогов-то отродясь, так оно любопытно ему было...

Сапоги для мужика – самый соблазнительный предмет, как это уже было замечено многими наблюдателями. Никакая другая часть мужицкого костюма не пользуется такой симпатией, как именно сапоги. Происходит ли эта необъяснимая симпатия оттого, что сапоги являются роскошью для всероссийского ла-

потника, или это наша исключительно национальная особенность – трудно сказать.

– Так Кирило-то, говоришь, помрет? – спрашивал Силантий, провожая нас на крыльцо.

– Да... – коротко ответил доктор, задувая огарок.

– Ах ты, грех какой вышел... а?.. Чего делать-то будем?

– Похоронят как-нибудь...

– Известно, похоронят... Нет, дома-то у Кирилы семьища осталась – страсть! Сам-восьмой был, и все мал мала меньше... А средства никакого не будет Кириле от вашего благородия?

– Нет, не будет...

– Ах, грех какой... И попа-то на этой треклятой пристани нет; пожалуй, без покаяния и отойдет. Вот бы еще денька два повременил, поп наедет к отвалу каравана, уж за попутьем бы и упокойничка похоронить.

Мы вышли молча. Силантий остался на крыльце, почесываясь лопатками и позевывая. Давешняя собака показалась опять из-за угла, присела задом и тихо завывала.

– Чует упокойничка... – проговорил Силан-

тий.

– Вот вам жертва голодного тифа... – угрюмо проговорил доктор, чмокая губами.

– И много таких?

– Десятка полтора наберется.

Когда еще доктор осматривал больных, с улицы донесся какой-то подавленный стон. Немного погодя звук повторился и застыл в воздухе протяжным унылым воем. Без сомнения, это были волки.

– Доктор, слышите? – спрашивал я.

– Да...

Мы остановились и прислушались. Это были волки. Они перебежали через реку на наш берег и тянули убийственную ноту где-то тут, совсем близко.

– Целая стая... – заметил я.

Доктор вдруг засмеялся.

– А ведь вы и меня на грех навели, – проговорил он. – Ха-ха... Нашли волков!.. Я и позабыл совсем, что сегодня у инородцев праздник. Аллах им послал веселую скотинку, вот они и поют! Огонек-то видите на берегу? – там идет пир горой.

Действительно, теперь можно было совер-

шенно ясно определить, что звуки неслись именно от горевшего на берегу огонька.

– Я не понимаю, доктор, про какую веселую скотинку вы говорите?

– Неужели никогда не слыхали?.. Очень просто: у одного здешнего мужика сбесилась корова; по всей вероятности, ее укусила бешеная собака, ну-с, мужик и взвыл с своей коровой. Убыток убытком, да еще нужно ее зарезать, отвезти в лес и закопать поглубже в землю. А время самое горячее, до того ли тут... Пока мужик горевал, добрые люди и надоумили: отдать бешеную корову башкирам. А им это целый праздник; они взбесившийся скот зовут веселой скотинкой и едят его за настоящий, здоровый. Вся пристань давеча сбежалась смотреть, как они будут расправляться с бедной коровой... Мигом оборудовали все дело: закололи корову, развели огонек на берегу и закутили. Именно закутили, потому что совсем отощали и пьянеют от еды. Я сам ходил смотреть на них: наестся человек и шатается, как пьяный; глаза блуждают, ну, одним словом, все признаки отравления алкоголем.

– Может быть, это происходит от отравле-

ния зараженным мясом?

– Сначала я и сам то же подумал, но дело в том, что такое опьянение происходит и от хлеба. Ест-ест, пока замертво не свалится, потом отдышится и опять ест. Страшно на них смотреть. Не хотите ли полюбопытствовать?

– Нет, благодарю... На этот день достаточно впечатлений. Я видел этих инородцев давеча...

– Да, да... Голод согнал сюда народ со всех сторон. И болезнь у всех одна: голодный тиф.

– Разве у вас нет какой-нибудь больнички на всякий случай? – спрашивал я.

– Какая тут больничка... Лекарств даже нет. Хинин стоит дорого, поэтому лечим александрийским листом. Да и что может сделать медицина там, где все условия точно нарочно собраны для разрушения самого железного здоровья: голод, холод, каторжный труд...

Мы опять заговорили о проектах медоточивого Егора Фомича.

– Все это вздор, – отрезал доктор, безнадежно махнув рукой. – Жаль только, что все эти медовые речи отзываются все на той же бурлацкой спине.

– Именно?

– Откуда эти деньги у всех караванных, поверенных и прочей братии? Конечно, все с тех же бурлаков... Ведь их набирается на Чусовую тысяч двадцать пять, кладите по рублю с человека – и то получается порядочный куш, а тут еще нагрузка барок, опять новая статья дохода. Все наживаются около каравана, потому что не существует никакого контроля. Поставили на барку сорок человек, записали пятьдесят; за нагрузку заплатили сто рублей, а в книгу занесли триста. Кто их может проверить? Рука руку моет... Вы поплывете с караваном?

– Да.

– Ну, так досыта наглядитесь, чего стоят эти роскошные ужины, дорогие вина и тайные дивиденды караванной челяди. Живым мясом рвут все из-под той же бурлацкой спины... Вы только подумайте, чего стоит снять с мели одну барку в полую воду, когда по реке идет еще лед? Люди идут на верную смерть, а их даже не рассчитают порядком... В результате получается масса калек, увечных, больных.

– А их куда девают?

– Как куда? Не тащить же с собой – оставят на бережку, и вся недолга. Как негодный балласт, так и выбрасывают живых людей. Да еще больные туда-сюда: отлежался – твое счастье, умер – добрые люди похоронят, а вот куда деваться калекам да увечным?

– Может быть, им выдаются пособия?

– Какие там пособия! Обратите внимание на то, что главная масса увечных происходит благодаря все этим же безгрешным доходам караванных служащих; поставят людей в обрез, чтобы прописать в книгу побольше, снимают барки воротом, что запрещено законом. Да мало ли тут пакостей творится! Вот поплывете, так своими глазами насмотритесь. Главное, совсем бессудная земля, и если является на сплав полиция, так она всецело действует только в интересах судоотправителей, то есть усмиряет крестьянские бунты, когда сплав затянется.

Я распрощался с доктором. Осип Иваныч спал мертвым сном, но я долго не мог заснуть. Мне «мерещилось» все виденное и слышанное за день: эти толпы бурлаков, пьяный

Савоська, мастеровые, «камешки», ужин в караванной конторе и, наконец, больные бурлаки и этот импровизированный пир «веселой скотинкой». Целая масса несообразностей мучительно шевелилась в голове, вызывая ряды типичных лиц, сцен и мыслей. Как разобраться в таком хаосе впечатлений, как согласовать отдельные житейские штрихи, чтобы получить в результате необходимое целостное представление? Каждый раз, когда хотелось сосредоточиться на одной точке, мысли расползались в разные стороны, как живые раки из открытой корзины.

А в окна моей комнаты гляделся молодой месяц матовыми белыми полосами, которые прихотливо выхватывали из ночного сумрака то угол чемодана с медной застежкой, то какую-то гравюру на стене с неизвестной нагой красавицей, то остатки ужина на столе, то взлохмаченную голову Осипа Иваныча, который и во сне несколько раз принимался ругаться с бурлаками. В ушах у меня все еще стоял страшный вой пировавших инородцев, и мне казалось, что я опять слышу эти тянущие душу ноты. Наконец я забылся тревож-

ным сном. Но сегодня нам с Осипом Иванычем, видно, не суждено было спать, потому что в середине ночи под окнами послышался страшный стук, который заставил нас вскочить с постелей.

– Какой там черт ломится? – сердито закричал Осип Иваныч, подбегая к окну.

– От караванного, – слышался голос под окном.

– Черти полуношные!.. – ругался Осип Иваныч, отправляясь отворять дверь. – Умереть не дадут спокойно... Ну, какого черта понадобилось караванному, чтобы ему провалиться вместе с конторой? – спрашивал он в передней посланца.

– Вот писульку прислали, – почтительно докладывал неизвестный голос.

Осип Иваныч достал огня и торопливо пробежал записку караванного. Не дочитав до конца, он скомкал несчастную писульку и принялся неистово плевать.

– Что случилось, Осип Иваныч? – спросил я, тронутый этим безмолвным горем.

– А вот извольте, полюбуйте!.. – сердито сунул мне под нос принесенную писульку

Осип Иваныч и начал торопливо одеваться.

Я пробежал записку. Караванный просил Осипа Иваныча немедленно отправить нарочного в Тагил, чтобы купить там омаров и несколько страсбургских пирогов. В постскриптуме стояла лаконическая фраза, подчеркнутая карандашом: от этого все зависит...

– Подлецы! Аспиды! – неистовствовал Осип Иваныч, облакаясь в архалук. – Гнать нарочного за семьдесят верст за омарами... Тьфу! Это Егор Фомич придумал закормить управителей... Знает, шельмец, чем их пробрать: едой города берут, а наши управители помещались на обедах да на закусках. Дорого им эти закуски вскочат!

Через полчаса Осип Иваныч вернулся; нарочный был послан в ночь сейчас же. Но только что мы улеглись, как опять послышался стук в окно и прилетела вторая писулька от караванного: просит немедленно послать рабочих на какую-то речку за харюзами, которые должны быть готовы к обеду. У Осипа Иваныча руки затряслись со злости, и он должен был выпить три рюмки водки, чтобы успокоиться, снова одеться и отдать соответ-

ствующим приказанием. Я не дождался, когда он вернется, но сквозь сон слышал новый стук в окно; это, вероятно, был новый заказ караванного на какое-нибудь мудреное яство.

Каменка – название исторического происхождения.

Строгановы на реке Чусовой поставили Чусовской городок; а брат сибирского султана, Махметкул, на 20 июля 1573 года, «со многолюдством татар, остяков и с верхчусовскими вогуличами», нечаянно напал на него, многих российских подданных и ясачных (плативших царскую дань мехами – ясак) остяков побил, жен и детей разбежавшихся и побитых жителей полонил и в том числе забрал самого посланника государева, Третьяка Чубукова, вместе с его служилыми татарами, с которыми он был послан из Москвы «в казацкую орду». У Строгановых для обороны всегда была под рукой разная казацкая вольница, но они побоялись вступить в бой с Махметкулом и преследовать его, «опасаясь дальних случаев», то есть как бы этим не нанести «худых следствию от сильной сибирской стороны» своим острожкам и пермским городкам. Так Махметкул и вернулся восвояси «с немалою добычею и пленом», а Строгановы послали в

Москву просьбу, чтобы им позволили ходить войной на сибирцев; царь отписал Строгановым, чтобы они всех бунтовщиков и изменников воевали и под руку царскую приводили.

Воспользовавшись этой царской грамотой, Строгановы к своей казацкой вольнице присоединили разных охочих людей, недостатка в которых в то смутное время не было, и двинули эту орду вверх по реке Чусовой, чтобы в свою очередь учинить нападение на «недоброжелательных соседей», то есть на тех вогуличей и остяков, которые приходили с Махметкулом. Повторилась обратная история: недоброжелательные соседи избивались, их жилища превращались в пепел, а жены и дети забирались в полон. Таким образом строгановские казаки поднялись вверх по реке Чусовой верст на триста и остановились только при впадении в Чусовую реки Каменки. Идти дальше казаки не отваживались, опасаясь «многолюдства татарского и вогульского и сибирского владения». Чтобы закрепить за собой завоеванную сторону, Строгановы поселили на ней своих крестьян, причем селение,

поставленное на усторожливом местечке, при впадении реки Каменки в Чусовую, сделалось крайним пунктом русской колонизации, смело выдвинутым в самую глубь сибирской украины. Даже неутомимые и предприимчивые Строгановы не решились забираться дальше в сибирское владение, «понеже тогда, за сопротивлением сибирцев и вогулич, далее оной реки Каменки по Чусовой заселение иметь им, Строгановым, было опасно». Последовавшей затем царской грамотой вся завоеванная сторона отдана Строгановым вплоть по реку Каменку.

Таким образом, основание Каменки предуготовило на несколько лет знаменитый поход Ермака, и эта пристань долго еще служила Строгановым опорным пунктом в борьбе с соседями. Вообще бассейн реки Чусовой в течение нескольких столетий служил кровавой ареной, на которой кипела самая ожесточенная борьба аборигенов с неизвестными пришлецами. Нечаянные нападения, разрушения городков, одоление или полон чередовались здесь с переменным счастьем для враждовавших сторон. Для нас может показаться стран-

ным только одно: где Строгановы, частные люди, могли набрать столько народа не только для войны с сибирской стороной, но и для ее колонизации, разом на сотни верст? Такие крупные задачи, пожалуй, были не под силу и самой Москве, не то что частным предпринимателям. Дело объясняется очень просто, если мы взглянем на него с исторической точки зрения. Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создался неистощимый запас голутвенных, обнищалых и до конца оскуделых худых людишек, которые с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украинам, а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская Украина представлялась еще со времен новгородских ушкуйников[13] самой лакомой приманкой. Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской Украины были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волочита, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые

заставляли «брести врознь» целые области.

Мы не станем вдаваться в подробности того, как голутвенные,[14] и обнищальные людишки грудью взяли и то, что лежало перед Камнем, и самый Камень, и перевалили за Камень, – эти кровавые страницы русской истории касаются нашей темы только с той стороны, поскольку они служили к образованию того оригинального населения, какое осело в бассейне Чусовой и послужило родоначальником нынешнего. После одоления сибирской стороны тяга русских людишек на Камень постоянно увеличивалась, чему способствовали некоторые новые мотивы русской истории. Так, в течение последних двух веков на Камень со всех сторон бежали раскольники. Мы встречаем название Каменки уже не в царских грамотах, а в делах Преображенского приказа[15] когда князь Иван Федорович Ромодановский пытал за «государственные слова».

Именно, мы приведем коротенький эпизод о «государевых слове и деле», которые залетели даже на Каменку. Этот эпизод отлично характеризует порядки того времени и людей,

из которых образовалось нынешнее уральское население.

Летом 1722 года на Каменку приходит неизвестного звания человек и останавливается в доме крестьянина Якова Солнышкина. [16] Странника приняли и обогрели, как своего человека, потому что незнаемый пришлец назвался приверженным к расколу. Собралась однажды вечером вся семья Солнышкиных, и пошли те разговоры, какие перебегали по петровской Руси, как электрические искры. Первыми, конечно, затрещали бабы, жена Якова Солнышкина да его сноха. Они рассказали неизвестному человеку, что проходили через Каменку неизвестные гуляющие люди и сказывали, что государь-де в Казани часовни ломает, и иконы из часовен выносит, и кресты с часовен сымает. И к тем словам разболтавшихся каменских баб сын Якова Солнышкина, тоже Яков, прибавил про императорское величество, что взял бы де его и в мелкие части разрезал и тело бы его растерзал. Неизвестный человек хорошо запомнил горячую выходку младшего Солнышкина, пожил в Каменке недели две, а затем отправил-

ся, как объяснил гостеприимным хозяевам, разыскивать медную руду, о которой слышался раньше.

Из Каменки неизвестный человек прошел на Тагил-реку и там действительно отыскал медную руду и в то же время усмотрел в лесу две кельи, в которых жили три раскольничьих старицы: Платонида, Досифея и Варсонофия, и старец Варфоломей. Встретившись с раскольниками, неизвестный человек сам назвался раскольников и поселился на время у них. Повторилась старая история: неизвестный человек вкрался в доверие пустынножителей, и опять пошли разговоры. Старицы обрадовались случаю поболтать с новым человеком, причем Платонида называла царя «обменным шведом», который не может «воздержать посту», затем говорила, что образа пишут с шведских персон, и так далее. Старицы-сестры, Варсонофия и Досифея, прибавили к этому, что государь-де сжился с царицей Екатериной Алексеевной прежде венца и что от царевича-де Алексея Петровича родился от шведки царевич мерою аршин с четвертью и с зубами, не прост человек. Старец Варфоло-

мем читал неизвестному человеку какие-то божественные книги, называл попов еретиками и говорил про крещение, что еретическое крещение не есть крещение, а паче осквернение, и так далее, и так далее.

После этого мы видим неизвестного человека уже в Тобольске, где он объявляет «государевы слово и дело» и прямо указывает на «государственные слова», какие говорили старицы со старцем и Яков Солнышкин. Из Тобольска немедленно посылается надежный профос (солдат), который и забирает всех, на кого донес неизвестный человек, а затем всех пятерых везет в Тобольск. Дорогой старица Платонида умирает, а старец Варфоломей убегает из-под стражи. Трое, оставшиеся в наличности, вместе с доносчиком отправляются в Москву и сдаются с рук на руки в Преображенский приказ, под крылышко князю Ромодановскому.

Кто же был этот неизвестный доносчик и что за цель была у него подводить людей, которые приютили его, обогрели и кормили?

Вот что показал на допросе доносчик: родом он казачий сын, из Сибирской губернии,

города Тюмени, по имени Дорофей Веселков. Из Тюмени в 1721 году он поехал на Ирбитскую ярмарку с товаром, но дорогой воевода Нефедьев товары его побрал себе и его самого посадил под караул. Из-под караула Веселков вскоре бежал, несколько времени проживал в Уфимской губернии и на Уктусском заводе, а потом наслышался про медные руды в имениях Строгановых, куда и отправился. Чем кончился этот сыск медной руды, мы уже видели. Что касается цели, какой мог добиваться своим доносом Веселков, то мы, рассматривая все дело, приходим к тому заключению, что единственной целью этого доносчика было освободиться самому из того неловкого положения, в какое он попал благодаря воеводе Нефедьеву. Другого мотива мы, к сожалению, не можем подыскать; Веселков поступил так, как в то смутное время поступали тысячи людей. Чтобы выгородить себя, жертвовали другими – и только.

Конец всего дела носит трагический характер. Якова Солнышкина и стариц, не довольствуясь их повинными, вздернули на дыбу и секли плетью. Старице Варсонофии было

около семидесяти лет, и после трех пыток она скончалась в «бедности» Преображенского приказа, то есть в тюрьме. Яков Солнышкин едва пережил ее двумя неделями, а старица Досифея пережила своих товарищей на полгода, и князь Ромодановский особенно крепко сыскивал с нее. Бедную старуху много раз поднимали на дыбу, били плетью и жгли огнем, пока она не скончалась в той же «бедности».

Главный герой всего дела, Дорофей Веселков, получил за правый донос денежное вознаграждение и был отпущен с миром восвояси.

Из сказанного выше видно, каким путем складывалось население далекого Урала и какие невзгоды налетали на его голову. Мы с сожалением смотрим в темную глубь истории, где перед нашим взором нескончаемыми вереницами тянутся голутвенные и обнищавшие до конца людишки, выкинутые волной нашего исторического существования на далекую восточную окраину. Нам кажется, что история не повторяется... Но вымирали поколения, изменялись формы, в какие отливалась

народная жизнь, а голутвенные людишки продолжают существовать по-прежнему и по-прежнему неизвестно творят русскую историю, как микроскопические ракушки и полипы образуют громадные рифы, мели, острова и целые скалы. Вглядываясь в кипевшую на Каменке сплавную сутолоку, я невольно припомнил исторических голутвенных людишек: они опять были налицо, живописуя и иллюстрируя настоящее. На одной Чусовой ежегодно набирается бурлаков до двадцати пяти тысяч, а сколько их бьется на других горных речонках в это горячее время? Прогрессируя, наша историческая русская нужда пустила множество новых разветвлений и создала почти неуловимые формы. Возникли, развились и созрели такие злобы мужицкой жизни, о каких даже и не снилось бродившим врознь русским людишкам прошлых столетий. Приписные к заводам крестьяне, крепостное право – да мало ли цветов, выращенных неутомимым тружеником-временем! А впереди в форме капитализма уже встает нечто горшее, которое властно забирает все кругом...

В этом живом муравейнике, который кипит по чусовским пристаням весной под давлением одной силы, братски перемешались когда-то враждебные элементы: коренное чусовское население бассейна Чусовой с населявшими ее когда-то инородцами, староверы с приписными на заводе хохлами, представители крепкого своими коренными устоями крестьянского мира с вполне индивидуализированным заводским мастеровым, этой новой клеточкой, какой не знала московская Русь и которая растет не по дням, а по часам.

VIII

Чусовая – одна из самых капризных горных рек. Самые заурядные явления, повторяющиеся периодически, не поддаются наблюдению и каждый раз создают новые подробности, какие в таком рискованном деле, как сплав барок, имеют решающее значение. Это зависит от тех физических условий, какими обставлено течение Чусовой на всем ее протяжении. Начать с того, что падение Чусовой превосходит все сплавные русские реки: в своей горной части, на расстоянии четырехсот верст до того пункта, где ее пересекает Уральская железная дорога, она падает на восемьдесят сажен, что составит на каждую версту реки двадцать сотых сажени, а в самом гористом месте течения Чусовой это падение достигает двадцати двух сотых сажени на версту. Для сравнения этой величины достаточно указать на падение Камы, Волги и Северной Двины, которое равняется всего двум-трем сотым сажени. Затем, коренная вода на перекатах и переборах в межень стоит четыре вершка, а весной здесь же сплавной вал

иногда достигает страшной высоты в семь аршин.

Для сплава, конечно, самое важное, когда лед вскрыется на реке. Но и здесь применить-ся к Чусовой очень трудно, может выйти даже так, что при малых снегах река сама не в состоянии взломать лед, и главный запас весенней воды, при помощи которого сплавляются караваны, уйдет подо льдом. Поэтому вопрос о вскрытии Чусовой для всех расположенных на ней пристаней в течение нескольких недель составляет самую горячую злобу дня, от него зависит все. Чтобы предупредить неожиданные сюрпризы капризной реки, обыкновенно взламывают лед на Чусовой, выпуская воду из Ревдинского пруда. А так как вода в каждом заводском пруде составляет живую двигающую силу, капитал, то такой выпуск из Ревдинского пруда обставлен множеством недоразумений и препятствий, самое главное из которых заключается в том, что судоотправители не могут никак прийти к соглашению, чтобы действовать заодно. Одним нужно раньше выпустить воду, другим позже, идут бесконечные препирательства,

пока ревдинское заводууправление в видах отправления собственного каравана не сделает так, как ему угодно. Остальным пристаням приходится уже только ловить золотые минуты, потому что пропустил какой-нибудь час – и все дело можно испортить. Поэтому ожидание, когда Ревдинский пруд спустит воду, чтобы взломать на Чусовой лед, принимает самую напряженную форму; все разговоры ведутся на эту тему, одна мысль вертится у всех в голове.

Понятно то оживление, какое охватило всю Каменку, когда на улице пронесся крик:

– Вода пришла!.. Вода... Лед тронулся!..

Это был глубоко-торжественный момент.

Все, что было живо и не потеряло способности двигаться, высыпало на берег. В серой, однообразной толпе бурлаков, как мак, запестрели женские платки, яркие сарафаны, цветные шугаи.[17] Ребятишкам был настоящий праздник, и они метались по берегу, как стаи воробьев.

Выползли старые-старые старики и самые древние старушки, чтобы хоть одним глазом взглянуть, как нынче выиграла матушка Чу-

совая. Некоторые старики плохо видели, были даже совсем слепые, но им было дорого хоть послушать, как идет лед по Чусовой и как галдит народ на берегу. Вероятно, многие из этих ветеранов чусовского сплава, вдоволь поработавших на своем веку на Чусовой, и пришли на берег с печальным предчувствием, что они, может быть, в последний раз любуются своей поилицей-кормилицей. Сюда же на берег выползли, приковыляли и были вытащены на руках до десятка разных калек, пострадавших на весенних сплавах: у одного ногу отдало поносным, другому руку оторвало порвавшейся снастью, третий корчится и ползает от застарелых ревматизмов. Эти печальные диссонансы как-то совсем исчезали в общем веселье, какое охватило разом всю пристань. Это был настоящий праздник, нагнавший на все лица веселые улыбки.

– Вам, может быть, идет пенсия? – спросил я одного такого калеку.

– Кака пенсия? – переспросил он с удивлением.

– Из караванной конторы пенсия... пособие.

– Нет, у нас никаких пособиев не полагается, барин.

– Да ведь тебе руку-то оторвало во время сплава, на караванной работе?

– Снастью отрезало... Я у огнива стоял, а снасть-то и оборвись.

– Ну, так караванная контора и должна была тебе назначить денежное пособие, рубля хоть три в месяц. Какой ты работник без руки?

– Уж это што говорить: калека – калека и есть, куды меня повернуть. Пока около сродственников прокармливаюсь, а там и по миру доведется идти. Так контора-то обязана, говоришь, насчет пособия?

– Конечно, обязана...

Мужик задумался: перспектива получить пособие смутила его, хотя он и не доверял моим словам. После минутного раздумья он махнул оставшейся рукой и проговорил:

– Нет, барин, это никак невозможно...

– Почему?

– А ты посчитай-ка, сколь у нас на одной Каменке калек, а тут мы все и приползем в контору насчет пособиев... Да это и денег

недостанет! Которым сплавщикам увечным – это точно, пособие бывает, а штобы нашему брату, бурлаку... Вон он, Осип-то Иваныч, стоит, сунься-ко к нему, он те задаст такое пособие! Ишь как глазищами ворочает, вроде как осетер...

Вид на реку с балкона караванной конторы был особенно хорош и даже заслужил одобрение самого Егора Фомича, который в числе других в течение нескольких минут любовался игравшей рекой.

– Немного диковато... – нерешительно заметил кто-то из собравшейся на балконе публики.

Нахлынувший вал поднял лед, как яичную скорлупу; громадные льдины с треском и шумом ломались на каждом шагу, громоздились одна на другую, образуя заторы, и, как живые, лезли на всякий мысок и отлогость, куда их прибивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и неподвижная река теперь шевелилась на всем протяжении, как громадная змея, с шипением и свистом собирая свои ледяные кольца. Взломанный лед тянулся без конца, оставляя за собой холодную струю воз-

духа; вода продолжала прибывать, с пеной катилась на берег и жадно сосала остатки лежавшего там и сям снега. Вместе с льдинами несло оторванные от берега молодые деревья, старые пни, какие-то доски и разный другой хлам; на одной льдине с жалобным визгом проплыла собачонка. Поджавши хвост, она долго смотрела на собравшийся на берегу народ, пробовала перескочить на проходившую недалеко льдину, но оступилась и черной точкой потерялась в бушевавшей воде. Вся картина как-то разом ожила, точно невидимая рука подняла занавес громадной сцены, и теперь дело остановилось только за актерами.

– Сплавщики пришли поздравлять! – дoloжило «среднее» в сюртуке.

В передней набралось человек пятнадцать сплавщиков; остальные толпились на лестнице и на крыльце. Осип Иваныч, конечно, был здесь же и с кем-то вполголоса ругался. Впереди других стояли меженные[18] сплавщики. Вот степенный высокий старик Лупан, с окладистой большой бородой и строгими глазами; он походит на раскольничьего на-

четчика, говорит не торопясь, с весом. Из-за него выставляется на диво сколоченная фигура Кряжова, который, как говорится, сделан из цельного дерева; балагур и весельчак Окиня выставляет вперед свою бородку клином, причмокивает и подмигивает. Прижался в уголок в своем рваном азыме Пашка, тоже хороший сплавщик, который, к сожалению, только никак не может справиться с самим собой на сухом берегу. Мелькают бородатые и молодые лица, почтенная седина матерого сплавщика с безусой юностью «выученика». Общее впечатление от сплавщиков самое благоприятное, точно они явились откуда-то с того света, чтобы своими смышленными лицами, приличным костюмом мужицкого покроя и общим довольным видом еще более оттенить ту рваную бедность, которая, как выкинутый водой сор, набралась теперь на берегу.

– Пришли проздравить Егора Фомича... – заявляет Лупан, когда в дверях показывается Семен Семеныч.

– Сейчас, сейчас выйдут! – торопливо шепчет караванный, оглядывая сплавщиков, точ-

но в их фигурах или платье могло затаиться что-нибудь обидное для величия Егора Фоми-ча.

– Ох, старый – не молоденький... А у меня, Осип Иванович, еще ночесь брюхо болело: слышало вашу водку! – смеется Окиня, потряхивая своими русыми волосами. – У меня это за- всегда... В том роде как часы...

– Ну, ну, будет тебе молоть-то!

Окиня показывает два ряда мелких белых зубов, какие бывают только у таких богатырей, и продолжает свою неудержимую болтовню.

– Шш!.. – шипит караванный, опять вбегая в переднюю. – Входите по одному... да не стучите ножищами. Кряжов! Пожалуйста, того... не изломай чего-нибудь... Лупан, ступай вперед!

Сплавщики одернули кафтаны, пригладили ладонями волосы на голове и гуськом потянулись в залу, где их ждал сам Егор Фомич.

– С вешней водой... со сплавом! – говорил Лупан, отвешивая степенный поклон.

– Спасибо, спасибо, братцы! – ласково ответил Егор Фомич, подавая Лупану стакан вод-

ки. – Уж постарайтесь, братцы. Теперь время горячее, в три дня надо поспеть...

– Как завсегда... Егор Фомич, – говорит Лупан, вытирая после водки рот полый кафтана. – Переждемся... Вот как вода...

– А что вода?

– Надо полагать, что кабы над меженью-то больно высоко не подняла. Снега ноне глубоки, да и весна выпала дружная: так солнышко варом и варит...

– Ну, бог не без милости, казак не без счастья!

– Обнаковенно, даст господь-батюшко, и сбежим, как ни на есть. Разве народ што...

– Это уж наше дело, Лупан; не ваша забота... А! Окиня! здравствуй! Ну-ко, попробуй, какова водка?

– Водка первый сорт, Егор Фомич, – не запинаясь, отвечает Окиня, – да стаканчик-то у тебя изъятый: глонул раз и шабаш – точно мимо на тройке проехали...

– С большого стаканчика у тебя голова заболит, а теперь нужно работать вплотную, – милостиво шутил Егор Фомич. – Как привалим в Пермь, тогда будет тебе и большой ста-

канчик.

– Не омманешь?

– Зачем же...

У Егора Фомича для всякого было наготове ласковое словцо; он половину сплавщиков знал в лицо и теперь балагурил с ними с барским добродушием. Глядя на эту патриархальную картину, завзятый скептик пролил бы слезы невольного умиления: делец и носитель великих промышленных планов братался с наивными детьми народа – чего же больше?

– Господская водка хороша, да мужицкая рука коротка, – говорил Окиня, проталкиваясь к выходу. – Видно, добавить придется из своих денежек. Старый – не молоденький.

– А когда караван отвалит? – спрашивал я Лупана.

– Да дня этак три сождем, барин. Паводка будем ревдинского дожидать. Вишь, ноне как весна-то ударила, то-то гляди не подняло бы Чусовую-то...

Около конторы в собравшейся артели сплавщиков мелькали красные рубахи и шляпы с лентами франтов-косных. При каждой

казенке, то есть барке, на которой плывет караванный, полагается десятка два самых отборных бурлаков, которые помогают снимать обмелевшие барки, служат вестовыми и так далее. Это и есть косные; самое название произошло от «косной» лодки, в которой они разъезжают. На всех пристанях они одеваются в цветные рубахи и щеголяют в шляпах с лентами. Собственно, косные не исправляют никакой особенной должности, а существуют по исстари заведенному порядку, как необходимая декоративная принадлежность каждого сплава.

Чусовские сплавщики – одно из самых интересных и в высшей степени типичных явлений своеобразной жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, какие неизвестны даже в теории. Чтобы быть заправским, настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли и, что всего важнее, нужно обладать известными душевными

качествами. Прежде всего сплавщик должен до малейших подробностей изучить все течение Чусовой на расстоянии четырехсот – пяти сот верст, где река на каждом шагу создает и громоздит тысячи новых препятствий; затем он должен основательно усвоить в высшей степени сложные представления о движении воды в реке при всевозможных уровнях, об образовании суводей,[19] струй и водоворотов, а главное – досконально изучить законы движения барки по реке и те исключительные условия сочетания скоростей движения воды и барки, какие встречаются только на Чусовой. Нужно заметить еще то, что каждый вершок лишней воды в реке вносит с собой коренные изменения в условиях: при одной воде существуют такие-то опасности, при другой – другие. При малой воде выступают огрудки,[20] и таши[21] а при высокой с баркой под бойцами невозможно никак справиться. Но одного знания, одной науки здесь мало: необходимо уметь практически приложить их в каждом данном случае, особенно в тех страшных боевых местах, где от одного движения руки зависит участь всего дела.

Хладнокровие, выдержка, смелость – самые необходимые качества для сплавщика: быва-
ют такие случаи, что сплавщики, облада-
ющие всеми необходимыми качествами, добро-
вольно отказываются от своего ремесла, пото-
му что в критические моменты у них «не хва-
тает духу», то есть они теряются в случае
опасности. Кроме всего этого, сплавщик с од-
ного взгляда должен понять свою барку и
внушить бурлакам полное доверие и уваже-
ние к себе. Но все сказанное вполне можно
понять только тогда, когда видишь сплавщи-
ка в деле на утлом, сшитом на живую нитку
суденышке, которое не только должно бо-
роться с разбушевавшейся стихийной силой,
но и выйти победителем из неравной борьбы.

Понятно, что тип чувовского сплавщика
вырабатывался в течение многих поколений,
путем самой упорной борьбы с бешеной гор-
ной рекой, причем ремесло сплавщика пере-
ходило вместе с кровью от отца к сыну. Обык-
новенно выучка начинается с детства, так
что будущий сплавщик органически сраста-
ется со всеми подробностями тех опасностей,
с какими ему придется впоследствии бороться.

ся. Таким образом, бурная река, барка и сплавщик являются только отдельными моментами одного живого целого, одной комбинации.

IX

В гавани работа кипела. Половина барок была совсем готова, а другая половина нагружалась. При нагрузке барок непременно присутствуют сплавщик и водолив; первый следит за тем, чтобы барка грузилась по всем правилам искусства, а второй принимает на свою ответственность металлы.

Я отыскал в гавани барку Савоськи. Он был «в лучшем виде», и только синяк под одним глазом свидетельствовал о недавнем разгуле. Теперь это был совсем другой человек, к которому все бурлаки относились с большим уважением.

– Пришли поглядеть, как барки грузятся? – спрашивал он меня.

– Да. А ты разве не ходил поздравлять с вешней водой? Я тебя что-то не видал в конторе.

Савоська только махнул рукой и стыдливо проговорил:

– Я уж проздравился... Три дни пировал без просыпу, а теперь трекнулся.

– Как ты сказал?

– Говорю: трекнулся... Ну ее, эту водку, к чомору!

«Трекнулся» – значит отрекся.

Как самому лучшему сплавщику, ему грузили штыковую медь. Начинающим сплавщикам обыкновенно сначала дают барки с чугуном, а потом доверяют железо и медь. Расчет очень простой: если барка убьется с чугуном – металл не много потерял от своего пребывания в воде, а железо и медь – наоборот. Медная штыка имеет форму узкого кирпича; такая штыка весит полпуда. Для удобства нагрузки штыки связываются лыковыми веревками в тюки, по шести штук. Потаскать в течение дня из магазина на барку трехпудовые тюки меди – работа самая тяжелая, и у непривычного человека после двух-трех часов такой работы отнимается поясница и спина теряет способность разгибаться.

– Много осталось грузиться? – спросил я Савоську.

– Четь[22] барки осталось...

Сначала скажем, как устроена чусовская барка, чтобы впоследствии было вполне ясно, какие препятствия она преодолевает во вре-

мя сплава, какие опасности ей грозят и какие задачи решаются на каждом шагу при ее плавании.

Начать с того, что барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика – живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить: «барка плывет» или «барка разбилась», а всегда говорят – «барка бежит», «барка убилась», «бежал на барке». По своей форме барка походит на громадную, восемнадцать саженой длины и четыре сажени ширины, деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются громадные весла-бревна. Эти весла называются потесями или поносными. Постройка такой барки носит самый первобытный характер. Где-нибудь на берегу, на ровном месте, вымащивают на деревянных козлах и клетках платформу, на которую и настилают из двухвершковых досок днище барки; она обрезывается в форме длинной котлеты, причем боковые закругления получают названия плеч: два носовых плеча и два кормовых. В

носовых плечах барка строится шире кормовых вершка на четыре, чтобы центр тяжести был ближе к носу, от чего зависит быстрота хода и его ровность.

– Ежели плечи сделать ровные на носу, как и на корме, – объяснял Савоська, – барка не станет разводить струю и будет вертеться на ходу.

Собственно, здесь применяется всем известный факт, что бревно по реке всегда плывет комлем вперед; полозья у саней расставляются в головке шире, тоже в видах легкости хода.

На совсем готовое днище в поперечном направлении настилают кокоры, то есть бревна с оставленным у комля корнем: кокора имеет форму ноги или деревянного глаголя.[23] Из этих глаголей образуются ребра барки, к которым и «пришиваются» борта. Когда кокоры положены и борта еще не пришиты, днище походит на громадную челюсть, усаженную по бокам острыми кривыми зубами. В носу и в корме укрепляется по короткому бревну – это пыжи; сверху на борты накладывается три поперечных скрепления, озды, затем бар-

ка покрывается горбатой, на два ската, палубой – это конь. В носовой и кормовой части барки настилаются палубы для бурлаков, которые будут работать у поносных. Около пыжей укрепляются в днище два крепких березовых столба – это огнива, на которые наматывается снасть; пыжей и огнив – два, так что в случае необходимости барка может идти вперед и кормой. Средняя часть барки, где отливают набирающуюся в барку воду, называется льялом.

На каждую барку идет около трехсот бревен, так что она вместе с работой стоит рублей пятьсот. Главное достоинство барки – быстрота хода, что зависит от сухости леса, от правильности постройки и от нагрузки. Опытный сплавщик в несколько минут изучает свою барку во всех подробностях и на глазомер скажет, где пущено лишних полвершка. Чтобы спустить барку в воду, собирается больше сотни народа. От платформы, на которой стоит барка, проводятся к воде склизни, то есть бревна, намазанные смолой или салом; по этим склизням барка и спускается в воду, причем от крика и ругательств стоит

стоном стон. Спешка барок не идет за настоящую работу, как, например, нагрузка, хотя от бестолковой суеты можно подумать, что творится и бог весть какая работа. Самый трагический момент такой спешки наступает тогда, когда барку где-нибудь «заест», то есть встретится какое-нибудь препятствие для дальнейшего движения. При помощи толстых канатов (снасть) и чегеней (обыкновенные колья) барка при веселой «Дубинушке», наконец, всплывает на воду и переходит уже в ведение водолива, на прямой обязанности которого находится следить за исправностью судна все время каравана. Сплавщик обязан только сплавить барку в целости, а все остальное – дело водолива. Так что на барке настоящим хозяином является водолив, а сплавщик только командует бурлаками.

– А как вы грузите барку? – спрашивал я Савоську.

– Барку-то? А так и грузим... Льяло садим четвертей на пять, носовые плечи на два вершка глубже, а кормовые на два вершка мельче. Носовой пыж грузим легче плеч, чтобы барка резала носом и не сваливалась на

сторону. На верхних пристанях барки грузят на четверть мельче.

– А сколько барка поднимает всего?

– Да как тебе сказать: какая барка, какая вода. Приноравливаешься к воде больше. Ну, тыщев двенадцать пудов грузим, а то и все пятнадцать.

По сходням, брошенным с берега на барку, бесконечной вереницей тянулись бурлаки с тюками меди. Каменные и мастеровые, конечно, резко выделялись от остальной деревенщины и обращались с трехпудовыми ношами, как с игрушками. Для них это была привычная и легкая работа; притом у каждого на запасе были кожаные вачеги,[24] что значительно облегчало работу: веревки не резали рук, и тюк со штыками точно сам собой летел на свое место. На бурлаков-крестьян было тяжело и смешно смотреть: возьмет он и тюк не так, как следует, и несет его, точно десятипудовую ношу, а бросит в барку – опять неладно. Водолив ругается, сплавщик заставляет переложить тюк на другое место.

– Едва поднял, – утирая пот рукавом грязной рубахи, говорит какой-то молодой здоро-

венный бурлак.

– Ах ты, пиканное брюхо! [25] – передразнивает кто-то.

Тут же суетились башкиры и пермяки. Эти уж совсем надрывались над работой.

– Муторно на них глядеть-то, – заметил равнодушно сплавщик. – Нехристь, она нехристь и есть: в ем и силы-то, как в другой бабе... Куды супротив нашей каменской – в подметки не годится!

Между тюками меди бегал, как угорелый, водолив. Это был плотный, среднего роста мужик с окладистой бородой песочного цвета, бегающими беспокойно карими глазами и тонким фальцетом. Он все время ворчал и ругался, точно каждая новая штыка меди для него была кровной обидой. Особенно доставалось от него крестьянам и несчастным башкирам; несколько раз он схватывал кого-нибудь за шиворот, тащил к брошенному тюку и заставлял переложить его на другое место. Вся эта суета пересыпалась нескончаемой и какой-то бесхарактерной руганью, которая даже никого и обидеть не могла; расходившиеся бабы владеют даром именно такой без-

обидной ругани, которая только зудит в ухе, как жужжание комара.

– Да будет тебе, Порша, собачиться-то! – заметил, наконец, Савоська, когда водолив начал серьезно мешать рабочим. – Ведь ладно кладут... Ну, чего еще тебе?

– Это ладно?! – как-то завизжал Порша, тыкая ногой ряды штык. – По-твоему, это ладно... а?

– Обнаковенно ладно... Маненько поразбились тюки, ну так дорогой еще успеешь поправить. Время терпит...

– Ну, уж нет, Савостьян Максимыч, я тебе не слуга, видно... Поищи другого водолива, получше меня!

– Да перестань ты кочевряжиться, купорос медный...

– Нет, шабаш! Порша тебе не слуга!..

Последние слова водолив проговорил каким-то меланхолическим тоном и, точно желая подтвердить свои слова, снял шапку, вачеги и с отчаянием бросил их на палубу.

– А вы на караване думаете сплыть? – спрашивал меня сплавщик, не обращая никакого внимания на самые осязательные доказа-

тельства отказа Порши от своей «обязанности».

– Да.

– В Пермь?

– Да...

– На казенке поплывете?

– Не знаю еще...

– А то плывите со мной. Порша казенку наладит, тоже насчет чаю обварганит дело в лучшем виде.

– Да ведь Порша отказался от своей должности? – проговорил я.

Порша сидел на берегу без шапки и злыми маленькими глазами смотрел на сновавших мимо бурлаков; время от времени он начинал отплевываться и что-то тихонько голосил себе под нос.

– Порша-то? – проговорил сплавщик, не глядя на берег. – Нет, мы с Поршей завсегда вместе на барке ходим... А это у него уж характер такой несообразный: все быргает. Вот ужо уходится маненько, так сам придет на барку.

Осип Иваныч недаром хвалил Савоську: в этом мужике что-то было совершенно особен-

ное, начиная с того, что он держал себя с тем неуловимо тонким тактом, с каким держат себя только настоящие умственные мужики. Если разобрать, так нигде нет такой массы самых тонких приличий и известных требований такта, как в крестьянской среде. Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу; каждому задается такой строгий экзамен, какой выдерживают только счастливцы. Малейший промах со стороны новичка, лишнее, на ветер брошенное слово, робость, торопливое движение – и все пропало. Только исключения могут позволять себе некоторые вольности. Например, посмотрите, как мужик относится к пьяным: кажется, что если уж есть где-нибудь равенство между людьми, так оно именно и должно существовать между пьяными, а на деле выходит не так. Пирует Савоська или пирует другой сплавщик – кажется, все равно, а между тем получается чувствительная разница: над пьяным Савоськой посмеются; при случае, если уж сильно закарячится, дадут хорошего подзатыльника, а затем, как проспался, из Савоськи вышел Савостьян Максимыч.

Всякая слабость отражается на авторитете, а такая слабость, как пьянство, в особенности; зашибающие водкой сплавщики обыкновенно много теряют в глазах бурлаков; поэтому пример Савоськи очень меня заинтересовал, и я нарочно прислушивался, что о нем галдят бурлаки.

– Савоська обнаковенно пирует, – говорил рыжий пристанский мужик в кожаных вачегах, – а ты его погляди, когда он в работе... Супротив него, кажись, ни единому сплавщику не сплыть; чистенько плавает. И народ не томит напрасной работой, а ежели слово сказал – шабаш, как ножом отрезал. Под бойцами ни единой барки не убил... Другой и хороший сплавщик, а как к бойцу барка подходит – в ем уж духу и не стало. Как петух, кричит-кричит, руками махает, а, глядишь, барка блина и съела о боец.

– Што говорить! – соглашалась кучка слушателей. – Ежели по-настоящему, так Савоське цены нет...

Сплавщики с разных пристаней славятся разными достоинствами: с одних пристаней не садятся на огрудки, с других ловко прово-

дят барки под бойцами или на переборах. Но и у самых лучших сплавщиков есть известные, почти органические недостатки и роковые места; если раз сплавщик убьет барку под бойцом, в следующий раз он уже теряет присутствие духа под ним. Случается так, что сплавщик бьет барки всего только под одним бойцом. Это зависит, раз, от совершенно особенных условий, с которыми приходится бороться под каждым новым бойцом, а с другой стороны, оттого, что предыдущая неудача «отнимает дух».

Х

Вода в Чусовой спала. Ждали второго вала, того паводка, по которому сплавляются все караваны. Обыкновенно его выпускают из Ревдинского пруда дня через три после первого вала. Эти три дня прошли. Барки почти все нагрузились. Приехал священник с ближайшего завода и остановился у Осипа Иваныча, то есть в одной комнате со мной.

– Святить караван, отец Николай?

– Да... Покойники есть, человека два, надо будет их похоронить, исповедать и причастить больных, мало ли работы нашему брату на сплаву!

Я вспомнил про больных мужиков, которых навещал доктор: живы ли они, или уж больше ничего не требуют, кроме могилы?

– Ночью придет вода, а завтра – отвал... – заговорил Осип Иваныч. – А это кто с вами?

– Да так... псаломщик хочет сплыть на караване в Пермь, посвящаться во дьякона.

– Так-с... Что же, доброе дело, – согласился Осип Иваныч.

– Он думает записаться бурлаком, Осип

Иваныч...

– И превосходно... Даром сплывет, да еще заработает рублей восемь. Глядишь, и пригодятся, как в консисторию пойдет...

Отец Николай сделал серьезное лицо и даже поправил полки своего подрясника из синего люстрина, точно хотел совсем закрыться от прозрачного намека Осипа Иваныча; будущий дьякон, рослый детина с черной гривой, только смиренно кашлянул в свою громаднейшую горсть и скромно передвинулся с одного кончика стула на другой.

– Я ведь отлично знаю ваши порядки, – не унимался Осип Иваныч. – У меня есть знакомый один, рассказывал всякую процессию...

– А вы все воюете? – политично переменил батюшка неприятный разговор.

– Да... Что будете делать? Такая уж наша обязанность, отец Николай.

– Конечно... Вот и голос у вас будто немного того...

– Охрип, как пес! Летом поправлюсь... Сами знаете: одолели бурлачье.

Батюшка ничего не отвечал, а только вздохнул и покачал с участием головой. Отец

Николай, как большинство заводских священников, держал себя с достоинством. Лицо у него было умное и красивое, карие глаза смотрели проницательно, говорил он не торопясь, с весом, улыбался редко – вообще выглядел человеком себе на уме. Псаломщик был из простецов и не знал, куда деваться с своими громадными руками и ногами. Дьякон из него, по всем признакам, должен был выйти хороший – и по фигуре и по голосу, только вот как он сумеет пролезть через консисторские мытарства.

Мы спали, когда набежал паводок. Все на пристани зашевелилось и загудело, точно разбудили спавший улей. К свету все и все были уже на ногах. День выдался пасмурный. Горы казались ниже, по серому небу низко ползли облака – не облака, а какая-то туманная мгла, бесформенная свинцовая масса. Чусовая играла на славу, как вырвавшийся из неволи зверь. С глухим ревом и стоном летел вниз пенистый вал, шипучей волной заливая низкие берега и с бешеным рокотом превращаясь на закруглениях береговой линии в гряды майданов, то есть громадных белых

гребней. Картина для художника получалась самая интересная: в этом сочетании суровых тонов сказывалась могучая гармония разгулявшейся стихийной силы.

Барки в гавани были совсем готовы. Батюшка с псаломщиком с утра были в караванной конторе, где все с нетерпением дожидались желанного пробуждения великого человека. Доктор показался в конторе только на одну минуту; у него работы было по горло. Между прочим он успел рассказать, что Кирило умер, а Степа, кажется, поправится, если переживет сегодняшний день. Во всяком случае и больной и мертвый остаются на пристани на волю Божию: артель Силантия сегодня уплывает с караваном.

– Пора! – слышался сдержанный шепот. – А то вода уйдет или набежит сверху караван.

Семен Семеныч только разводил руками и вытягивал вперед шею: дескать, ничего не поделаешь, ежели они изволят почивать. Минуты тянулись страшно медленно, как при всяком напряженном ожидании. С улицы доносился глухой гул человеческих голосов, мешавшийся с шумом воды.

– Пять четвертей над меженью! – шепотом докладывал в передней какой-то сплавщик.

– И еще прибудет?

– Надо полагать, что прибудет.

К десяти часам Егор Фомич, наконец, изволили проснуться, а затем показались в зале. Как покорный сын церкви, Егор Фомич подошел под благословение батюшки и даже поцеловал у него руку.

– Все готово? – обратился он к караванному.

– Все... Освятить караван и в путь.

– Гм... Время, кажется терпит, – заметил лениво Егор Фомич, взглянув на свой полухронометр. – Успеем позавтракать... Ведь так, Семен Семеныч?

– Совершенно верно-с, Егор Фомич, успеется! – подобострастно соглашался караванный, хотя трепетал за каждую минуту, потому что вот-вот налетит сверху караван и тогда заварится такая каша, что не приведи истинный Христос.

Завтрак походил на все предыдущие завтраки: так же было много пикантных яств, истребляли их с таким же аппетитом, а меж-

ду отдельными кушаньями опять рассуждали о великом будущем, какое ждет Чусовую, о значении капитала и предприимчивости и так далее. Вино лилось рекой, управители сидели красные, немец выкатил глаза, а становой тяжело икал, напрасно стараясь подавить одолевавшую дремоту. Караванный и служащие сидели как на иголках; батюшка тоже тревожно поглядывал все время на реку и несколько раз наводил чуткое ухо к передней, откуда доносился сдержанный ропот сплавщиков.

После нескольких тостов за великое будущее «главной артерии Урала» завтрак, наконец, кончился.

– Можно начинать? – осведомился батюшка.

– Пожалуйста, отец Николай! – с утонченной вежливостью отозвался Егор Фомич. – Как это в священном писании сказано: «Аще ли не созиждет... созиждет...»

Тысячи народа ждали освящения барок на плотине и вокруг гавани. Весь берег, как маком, был усыпан человеческими головами, вернее, – бурлацкими, потому что бабьи плат-

ки являлись только исключением, мелькая там и сям красной точкой. Молебствие было отслужено на плотине, а затем батюшка в сопровождении будущего дьякона и караванных служащих обошел по порядку все барки, кропя направо и налево. На каждой барке сплавщик и водолив встречали батюшку без шапок и откладывали широкие кресты.

– Вот и ваша каюта, – обратился батюшка ко мне, когда очередь дошла до казенки. – Отлично прокатитесь с Осипом Иванычем...

– Дай бог, дай бог! – отвечал за нас Егор Фомич. – В добрый час...

Сейчас после освящения толпы бурлаков серой волной хлынули на барки, таща за спиной котомки с необходимым харчем на дорогу.

– Ох, воду пропустили! – стонал наш водолив Порша. – Непременно набежит сверху караван...

– Успеем выйти в реку, а там пусть догоняют, – успокаивал сплавщик. – К поносным, ребяташки, к поносным! Пошевеливай, молодцы!..

Бурлаки живым роем копошились по па-

лубам, всякий старался подальше спрятать свою котомку в трюме. Порша при таком благоприятном случае, конечно, свирепствовал, отплевывался, бросал свою шляпу на палубу, ругался, стонал.

Наконец народ разместился; убрали сходни, оставалось открыть шлюз, чтобы выпустить барки в реку. Осип Иваныч остался на берегу и, как шар, катался по горбтому мосту, под которым должны были проходить барки.

– Разве он останется? – спросил я Савоську.

– Нет, зачем же... После на косной догонит. Наша казенка пойдет в последних.

– А почему не первой?

– На всякий случай: какая барка убьется или омелеет – мы сымать будем. Тоже вот с рабочими. Всяко бывает. Вон ноне вода-то как играет, как бы еще дождик не ударил, сохрани господи. Теперь на самой мере стоит вода – три с половиной аршина над меженью.

На балконе показался Егор Фомич в сопровождении своей свиты; можно было отчетливо рассмотреть синюю рясу батюшки и мундир станового. Вот кто-то на балконе махнул

белым платком, на берегу грянул пушечный выстрел, и ворота шлюза растворились. Барка за баркой потянулись в реку; при выходе из шлюза нужно было сейчас же делать крутой поворот, чтобы струей, выпущенной из шлюза, не выкинуло барку на другой берег, – и пятьдесят человек бурлаков работали из последних сил, побрасывая тяжелые потеси,[26] как игрушку. Одна барка черпнула носом, другая чуть не омелела у противоположного берега, но вовремя успела отуриться, то есть пошла вперед кормой.

Наступила наша очередь. Савоська поднялся на свою скамеечку, поправил картуз на голове и заученным тоном скомандовал:

– Отдай снасть!..

Двое косных подобрали отвязанный на берегу канат к огниву, и барка тихо поплыла к горбатому мосту. Заметно было, что Савоська немного волнуется для первого раза. Да и было отчего: другие барки вышли в реку благополучно, а вдруг он осрамится на глазах у самого Егора Фомича, который вон стоит на балконе и приветливо помахивает белым платком. Вот и горбатый мост; вода в откры-

тый шлюз льется сдавленной струей, точно в воронку; наша барка быстро врезывается в реку, и Савоська кричит отчаянным голосом:

– Нос направо, молодцы!! Сильно-гораздо, нос направо! Направо нос!.. Корму поддержи!!

Барка делает благополучно крутой поворот и с увеличивающейся скоростью плывет вперед, оставляя берег, усыпанный народом. Кажется в первую минуту, что плывет не барка, а самые берега вместе с горами, лесом, пристанью, караванной конторой и этими людьми, которые с каждым мгновением делаются все меньше и меньше.

Вот в последний раз взмыл кверху белой шапкой клуб дыма, и гулко прокатился по реке рокот пушечного выстрела, а барка уже огибает песчаную узкую косу, и впереди стелется бесконечный лес, встают и надвигаются горы, которые сегодня под этим серым свинцовым небом кажутся выше и угрюмее.

Каменка быстро скрылась из вида. Мимо зеленой шпалерой бежит темный ельник, шальная вешняя волна с захватывающим стоном хлещет в крутой берег, и барка несется вперед все быстрее и быстрее.

– Похаживай, молодцы! – весело покрикивает Савоська, прищуренными глазами зорко вглядываясь на быстро бегущую нам навстречу синевато-серую даль.

Барка быстро плыла в зеленых берегах, вернее, берега бежали мимо нас, развертываясь причудливой цепью бесконечных гор, крутых утесов и глубоких логов. Это было глухое царство настоящей северной ели, которая лепилась по самым крутым обрывам, цеплялась корнями по уступам скал и образовала сплошные массы по дну логов, точно там стояло стройными рядами целое войско могучих зеленых великанов.

Река неслась, как бешеный зверь. В излучинах и закруглениях водяная струя с шипением и сосущим свистом свивалась в один сплошной пенившийся клуб, который с ревом лез на камни и, отброшенный ими, разбивался дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой. В этом бешеном разгуле могучей стихийной силы ключом била суровая поэзия глухого севера, поэзия титанической борьбы с первозданными препятствиями, борьбы, не знавшей меры и границ собственным силам. Это был апофеоз стихийной работы великого труженика, для которого тесно

было в этих горах и который точил и рвал целые скалы, неудержимо прокладывая широкий и вольный путь к теплему, южному морю. Нужно видеть Чусовую весной, чтобы понять те поэтические грезы, предания, саги и песни, какие вырастают около таких рек так же естественно и законно, как этот сказочный богатырь – лес.

Только когда нашу барку подхватило струей, как перышко, и понесло вперед с неудержимой бешеной быстротой, только тогда я понял и оценил, почему бурлаки относятся к барке, как к живому существу. Это нескладное суденышко, сшитое на живую нитку, действительно превратилось в одно живое целое, исторически сложившееся мужицким умом, управляемое мужицкой волей и преодолевающее на своем пути почти непреодолимые препятствия мужицкой силой, той силой, которая смело вступала в борьбу с самой бешеной стихией, чтобы победить ее.

Первое впечатление от этой живой бурлацкой массы, которая волной шевелилась на палубе, получалось самое смутное: отдельные фигуры исчезали, сливаясь в бесформенную

кучу тряпья и рвани. Вы видите только, как два поносных с страшной силой распахивают воду, вздымают два пенящиеся вала и снова поднимаются из воды. Только мало-помалу из этой бесформенной шевелящейся массы начинают выступать отдельные фигуры и лица, и вы, наконец, разбираетесь в работе этого муравейника. Вот у поносных под губой – конец поносного с кочетом – стоят плечистые ребята: это подгубщики, которые выбираются из самых сильных и опытных бурлаков. У нас все четыре подгубщика были «камешки», самый отчаянный народ и замечательно ловко работавший. Не успевала команда сорваться у Савоськи с языка, как подгубщики уже бросали поносное в воду, налегая на губу всей грудью. На такую работу «одним сердцем» можно залюбоваться. На каждой палубе по два поносных. У левого поносного подгубщиком стоит рослый бурлак Гришка; он в одной пестрядевой рубахе, пестрядевые порты щеголевато забраны под новые онучи, забинтованные крест-накрест свежими веревочками новых лаптей. Из-под кожаной фуражки, которая сидит на голове Гришки, как блин, гля-

дит узкими черными глазами корявое, изрытое оспой лицо с жидкой растительностью на подбородке. «Ошшо навались, робя!» – говорит он, всей грудью напирая на свою губу; видно, как под рубахой напряживаются железные мускулы, лицо у Гришки наливается кровью, даже синееет от напряжения, но он счастлив и ворочает свое бревно, как шестигодовалый медведь. Через два кочета от Гришки виднеется женская фигура в заношенном коричневом платке; тщедушная бабенка жалко цепляется костлявыми руками за свой кочет и только другим мешает работать.

– По закону, кажется, нельзя ставить на барки женщин? – спрашиваю я у сплавщика.

– По закону-то оно точно что не дозволено... – ухмыляясь, отвечает Савоська. – Да уж оно так выходит, что на каждую барку беспрерменно эти самые бабенки попадут... И кто их знает, как они залезут. Отваливает барка, нарочно поглядишь – все мужики стоят, а как отвалила – бабы и объявятся, вроде как тараканы из щелей.

– А плата им какая?

– Ну, обнаковенно, бабе бабья и цена: мужику восемь рублей, а бабе четыре.

– Что больно дешево? Другая баба, может быть, сильнее мужика...

– Всякие и бабы бывают, только по нашему делу они несподручны. Теперь взять, омелела барка – ну, мужики с чегенями в воду, а бабу, куда ты ее повернешь, коли она этой воды, как кошка, боится до смерти.

– А много наберется на караване баб?

– Да штук двести, поди, наберется... Вон у Гришкинова поносного, третья с краю робит бабенка – это его жена. Как же... Как напьется – сейчас колотить ее, а все за собой по сплавам таскает. Маришкой ее звать... Гришка-то вон какой, Христос с ним, настоящий деревянный черт, за двоих ворочает, – ну, жена-то и идет на придачу.

Очевидно, присутствие женщин на караване, помимо всяких интимных соображений, имело великое «промышленное значение», потому что Семен Семеныч всех баб записывает бурлаками, а с миру и набежит ребятишкам на молочишко. Великое это дело – мир... По рублику, по двугривенному, по пята-

ку с рыла, а глядишь – в результате получается целый кус. Это один из величайших секретов нашей преуспевающей промышленности. Большинство женщин, которые плывут с караваном, – бездомовный, самый жалкий сброд, который река сносит вниз, как несет гнилые щепы, хлам и разный никому не нужный сор. Роль таких женщин самая незавидная, и они попадают на барки вместе со своими любовниками или просто оттого, что некуда больше деваться. Мужние жены представляют некоторое исключение, с той разницей, что всегда щеголяют с фонарями на физиономии, редкий день не бывают биты и вообще испивают самую горькую чашу.

Под правым поносным стоял подгубщиком прожженный бурлак с карими большими глазами и черной бородкой; его звали Исачкой Бубновым. В своем рваном азяме и какой-то поповской шляпе Бубнов выглядел самым отчаянным проходимцем, каким и был в действительности. Достаточно было взглянуть на эту вечно улыбающуюся рожу, чтобы сразу разглядеть плута по призванию, с настоящей артистической жилкой. Бубнов не

столько любил плоды своих замысловатых операций, сколько самый процесс хитро придуманной механики. Чистенько сделать самое пакостное дело было величайшей его слабостью. Все это прикрывалось бесконечными шутками, раскатистым смехом и самым добродушным весельем, какого никогда не испытывают самые чистые сердцем. Наш водолив Порша стонал и сокрушался все время нагрузки, а когда завидел Исачку – только всплеснул руками.

– Что, обрадовался небось? – балагурил Исачка, пробираясь под палубу с какой-то сомнительной котомкой. – Больно я о тебе соскучился.

– Да в котомке-то у тебя что... а? – кричал Порша.

– Муниция.

– То-то, муниципия... Знаем мы тебя.

– Меня Савоська в подгубщики звал, я с ним завсегда плаваю. Ничего, не бойся, Порша.

Но Порша никак не мог успокоиться и несколько раз нарочно вылезал из-под палубы, чтобы взглянуть на Бубнова, причем охал,

вздыхал и начинал ругаться.

Под командой Бубнова у правого поносно-го работал и дядя Силантий с своей артелью. Я рассмотрел добродушное лицо Митрия и еще несколько крестьянских физиономий. «Похаживай, пиканники! – покрикивал на них Бубнов. – Что брюхо-то распустили?» Мужики не умели «срывать поносного», как настоящие бурлаки, перепутывали команду и, видимо, трусили, когда около барки начинали хлестать пенистые волны. Тут же, среди сосредоточенных мужицких фигур, замешалась разбитная заводская бабенка в кумачном красном платке и с зелеными бусами на шее; она ухмылялась и скалила белые зубы каждый раз, как Бубнов отмачивал какое-нибудь новое коленце.

– Ты, умница, с кем плывешь? – спрашивал Бубнов, с убийственной любезностью поглядывая на бабенку.

– Одна... С кем мне плыть-то!

– Обнаковенно, живой человек – не поле-но! – объясняет Бубнов, к удовольствию остальной публики. – По весне-то и щепы па-рами плавают.

Бабенка сердито отплеывается и кокетливо опускает глаза. Кто-то ржет на задней палубе, где есть свой балагур в лице хохла Кравченки. Палубы начинают обмениваться взаимными остротами, пересыпая их крепкими словцами, без которых, как хлеб без соли, мужицкий разговор совсем не вяжется. Кравченко, худой сгорбленный субъект, в какой-то бабьей кацавейке и рваной шляпенке, смеется задорным рассыпчатым смехом, весело щурит большие глаза и не выпускает изо рта коротенькой деревянной трубочки. Он очень доволен своим положением, потому что попал между двумя щеголихами-девками, которые плывут с косными. Это настоящие дамы каменского полусвета и держат себя очень прилично, хотя заметно довольны веселым соседом, которому уже успели отпустить несколько полновесных затрещин, когда он нечаянно попадал руками куда не следует. Одна, постарше, с красивыми голубыми глазами, держалась особенно степенно, стараясь не глядеть на своего сожителя, молодого молчаливого парня в красной рубахе, который работал за подгубника. Кравченко фами-

льярно называл ее Оксей (сокращенное от Аксиньи). Другая девка, молодая и вертлявая, постоянно закрывала свое курносое лицо рукавом ситцевой кофточки и хихикала, закидывая голову назад.

– Ты, Даренка, чего зубы-то моешь? – спрашивал Кравченко, любезно толкая свою соседку локтем. – Мотри, как дьякон-то на тебя zenки выворачивает... Кабы грех какой не стряся.

– Да ведь он женатый, – отзывается Даренка, поглядывая на бедного псаломщика, который попал на нашу барку.

Будущий дьякон конфузится и старается смотреть в другую сторону.

– Что что женатый... Женатому-то еще лучше, потому как его девки не опасятся: женатый, мол, чего его бояться! нехай поглядит, а он и доглядит.

Псаломщик чувствовал себя, кажется, очень неловко в этой разношерстной толпе; его выделяло из общей массы все, начиная с белых рук и кончая костюмом. Вероятно, бедняга не раз раскаялся, что польстился на даровщинку, и в душе давно проклинал неуни-

мавшегося хохла. Скоро «эти девицы» вошли во вкус и начали преследовать псаломщика взглядами и импровизированными любезностями, пока Савоська не прикрикнул на них.

– Перестаньте вы, плехи, приставать к мужику!.. Точите зубы-то об себя.

Девки обиделись и замолчали.

– Сам с плехой плывешь! – огрызнулась немного погодя Окся, поглядывая на переднюю палубу.

Савоська промолчал, сделав вид, что не слышит.

На задней палубе толклось несколько башкир. Они держались особняком, не понимая остроумной русской речи. Это были те самые, которые три дня тому назад лакомились «веселой скотинкой». Кравченко попробовал было заговорить с одним, но скоро отстал: башкиры были настолько жалки, что никакая шутка не шла с языка, глядя на их бронзовые лица.

Мало-помалу все присмотрелись друг к другу, и на барке образовалось сплоченное общество, причем все элементы заняли надлежащее место. Меня всегда удивляла

необыкновенная способность русского человека к быстрому образованию такого общества; достаточно нескольких часов, чтобы люди, совершенно незнакомые, слились в одну органическую массу, причем образовалось что-то вроде безмолвного соглашения относительно достоинств и недостатков каждого. Без слов все отлично понимали сущность дела, и общественное мнение сейчас же вступило в свои права. Я особенно любовался Савоськой, которому достаточно было окинуть глазом эту пятидесятиголовую толпу, чтобы сразу определить, кто и чего стоит. Настоящего работника он чувствовал уже по тому, как тот брался за кочет поносного. Тысячи мельчайших примет, приобретенных постоянным обращением «на людях», выработали у Савоськи тот глазомер, который безошибочно определяет микроскопические особенности.

Савоськин глаз давно привесился к рабочим. Вон на корме у правого поносного «ребят» рядом кривой парень в посконной рубахе и чахоточный мастеровой с зеленым лицом; на вид вся цена им расколотый грош, а из последних сил лезут ребята, стараются. То-

же вот молодец в красной рубаше, с которым плывет Окся, хорошо робит, совсем обстоятельный мужик и держит себя серьезно. Есть еще старик да мужик с рыжей бородой – и те дружно робят. На передней палубе подгубицки хороши, потом человек пять каменных бурлаков и пиканники. Остальные бурлаки идут между прочим, на придачу. В артели все сойдет. Кравченко, конечно, ленится, но он на съемках первый в воду идет. Есть тут же два-три человека хороших работников, да водкой зашибают... Всех знает Савоська, всякого оценил и со всяким у него свое обхождение: кривого парня, рыжего мужика и кое-кого из крестьян он приветливым словом заметит, чахоточного мастерового с дьяконом не пошлет в воду, в случае ежели барка омелеет, и так далее. На передней палубе заметил Савоська низенького, худенького бурлака: это Никифор с Каменки; с ним надо осторожнее: вздорный и «сумлительный» мужик, всех может смутить в случае чего. Чистая заноза, а не мужик.

– Веселенько похаживай, голуби! – покрививает Савоська, глядя вдаль. – Нос налево ударь... нос-от!.. Шабаш, корма!

Я любовался этим Савоськой, который, расставив широко ноги на своей скамеечке, теперь служил олицетворением движения. Голос звучал уверенно и твердо, в каждом движении сказывалась напряженная энергия. Он слился с баркой в одно существо. Но нужно было видеть Савоську в трудных местах, где была горячая работа; голос его рос и крепчал, лицо оживлялось лихорадочной энергией, глаза горели огнем. Прежнего Савоськи точно не бывало; на скамейке стоял совсем другой человек, который всей своей фигурой, голосом и движениями производил магическое впечатление на бурлаков. В нем чувствовалась именно та сила, которая так заразительно действует на массы.

– У нас Савостьян Максимыч – орелко, одно слово! – переговаривались между собой бурлаки. – Сказал слово, как отрубил... Уж супротив него никакому сплавщику не сделать – верно!.. У него глаз вострой.

Осип Иванович скоро обогнал нас на косной с шестью лихими гребцами – косными. Лодка летела стрелой.

– Куда это он плывет? – спрашивал я Пор-

шу.

– Да так, по баркам... На всякий случай, мало ли чего бывает с караваном.

Порша и Савоська все время особенно наблюдали переднюю барку, которая бежала перед нами. Там сплавщиком стоял оборванец Пашка. Лодка с косными пристала к этой барке.

– Что поглядываешь часто на переднюю барку? – спрашивал я Савоську. – Разве Пашка плохо плавает?

– Нет, плавает ничего, а вот кабы ему в голову не попало... Того гляди убьет!

За нами плыла барка старика Лупана. Это был опытный сплавщик, который плавал не хуже Савоськи. Интересно было наблюдать, как проходили наши три барки в опасных боевых местах, причем недостатки и достоинства всех сплавщиков выступали с очевидной ясностью даже для непосвященного человека: Пашка брал смелостью, и бурлаки только покачивали головами, когда он «щукой» проходил под самыми камнями; Лупан работал осторожно и не жалел бурлаков: в нем не доставало того творческого духа, каким отли-

чался Савоська.

Здесь необходимо сделать несколько замечаний относительно движения барки по реке.

Различают три рода движения барки: первое, когда барка идет тише воды, подставляя действию водяной струи один бок, – это называется «бежать нос на отрыск»; второе, когда барка идет наравне с водой, – это «бежать щукой», и третье, когда барка идет быстрее воды, зарезывает носом, – это «бежать в зарез». Эти три комбинации скорости движения воды и скорости движения барки служат единственным средством для управления баркой. Работа потесей во всяком случае ничтожна для борьбы с такой неизмеримо громадной силой, как напор воды в Чусовой; они служат только средством для управления движением барки. Известно, что вода в реке, как кровь в наших артериях, движется не с одинаковой быстротой. Если возьмем поперечный разрез реки, получится такая картина: самое сильное движение занимает середину реки, что на поверхности обозначается рубцом водяной струи; около берегов и на дне вода вследствие

трения движется значительно медленнее. Все это можно отчетливо проследить, если сделать внимательное наблюдение над движением по реке простых щеп или пены. Возьмем самый простой пример, именно, движение барки в полосе одинаковой скорости. Для того чтобы сделать движение направо, сначала потесями поворачивают нос направо, потом выравнивают корму, затем опять нос направо, и опять корма выравнивается, пока барка не перемещается в надлежащем направлении. Форма движения получается самая неуклюжая, как у человека, у которого одна половина тела разбита параличом. При движении барки в полосах воды разной скорости пользуются той силой инерции, какую барка получает от своего предыдущего движения по реке. Для того чтобы перевалить с одного берега на другой, барку носом прижимают к берегу и постепенно отводят корму. Струя воды напирает на борт барки и отбивает нос от берега. Барка идет теперь тише воды, делая «нос на отрыск». Потеси помогают такому боковому движению, подставляя все тот же борт напору струи. Когда барка из ти-

хой полосы попала на струю, она сначала идет вровень с водой, а потом начинает обгонять ее, что можно всегда заметить по движению пены и сора, который несет с собой рубец струи. Барку выравнивают потесями и, когда она пошла «в зарез», ставят нос к тому берегу, куда нужно сделать привал.

Когда и как пользоваться этими тремя движениями – зависит от множества условий: от свойств течения реки – куда бьет струя, как стоит боец, какое делает река закругление или поворот, от ранее приобретенной баркой скорости движения и от тех условий движения реки, которые последуют дальше; наконец, от количества и качества той живой рабочей силы, какой располагает сплавщик в данную минуту, от характера самой барки и, главное, от характера самого сплавщика. От сплавщика зависит, каким движением барки воспользоваться в том или другом случае, в его руках тысячи условий, которые он может комбинировать по-своему. Определенных правил здесь не может быть, потому что и река, и барка, и живая рабочая сила меняются для каждого сплава. Ясное дело, что, решая за-

дачу, как наивыгоднейшим образом воспользоваться данными, сплавщик является не ремесленником, а своего рода художником, который должен обладать известного рода творчеством. Мы можем указать несколько примеров применения трех родов движения барки, хотя они совсем не обязательны для сплавщиков и сплошь и рядом не применяются на практике. Движение «в зарез» употребляется чаще всего на главных закруглениях реки, где представляется возможность постепенного бокового перемещения. Барка в этом случае расходует ту силу, какую приобрела от своего предшествовавшего движения скорее воды. На крутых поворотах и под бойцами барки обыкновенно проходят «щукой». «Нос на отрыск» применяется тогда, когда барка должна идти носом близко к берегу, как это бывает около мысов. В таких случаях, если барка не поставлена «нос на отрыск», она, задев днищем за берег, принуждена бывает «отуриться», то есть идти вперед кормой.

Савоська был именно такой творческой головой, какая создается только полной опасностей жизнью. С широким воображением, с

чутким, отзывчивым умом, с поэтической складкой души, он неотразимо владел симпатиями разношерстной толпы.

– Где ты всему выучился? – спрашивал я его.

– Учеником сперва плавал, еще с отцом с покойником. С десяти лет, почитай, на караванах хожу. А потом уж сам стал сплавщиком. Сперва-то нам, выученикам, дают барку двоим и товар, который не боится воды: чугуны, сало, хромистый железяк, а потом железо, медь, хлеб.

– Сколько же вы получаете за сплав?

– Смотря по грузу: которые с чугуном плывут, тем тридцать пять – сорок рублей платят, а которые с медью – пятьдесят – шестьдесят рублей за сплав. Ежели благополучно привалит караван в Пермь – награды другой раз дают рублей десять.

Такое вознаграждение работы сплавщика просто нищенское, если принять во внимание, как оплачивается всякий другой профессиональный труд, и в особенности то, что самый лучший сплавщик в течение года один раз сплывет весной да другой, может быть,

летом, то есть зарабатывает в год рублей полтора-раста.

XII

Самая гористая часть Чусовой находится смежду пристанями Демидовой Уткой и Кыном. Мы теперь плыли именно в этой живописной полосе, где по сторонам вставали одна горная картина за другой. Чусовая в межень, то есть летом, представляет собой в горной своей части ряд тихих плес, где вода стоит, как зеркало; эти плесы соединяются между собой шумливыми переборами. На некоторых переборах вода стоит всего на четырех вершках, а теперь она поднялась на три аршина и неслась вперед сплошным пенистым валом, который покрыл все плесы и переборы. Самые опасные переборы, вроде Кашинского, сделались еще страшнее в полую воду, потому что здесь течение реки сдавлено утесистыми берегами.

Главную красоту чусовских берегов составляют скалы, которые с небольшими промежутками тянутся сплошным утесистым гребнем. Некоторые из них совершенно отвесно поднимаются вверх сажен на шестьдесят, точно колоссальные стены какого-то гигантского

средневекового города; иногда такая стена тянется по берегу на несколько верст. Представьте же себе размеры той страшной силы, которая прорыла такие коридоры в самом сердце гор! Все эти сланцы и известняки теперь представляют сплошные отвесные громады буро-грязного цвета с ржавыми полосами и красноватыми пятнами. В некоторых местах горная порода выветрилась под влиянием атмосферических деятелей, превратившись в губчатую массу, в других она осыпается и отстает, как старая штукатурка. На некоторых скалах вполне ясно обрисовано расположение отдельных слоев; иногда эти слои идут в замечательном порядке, точно это работа не стихийной силы, а разумного существа, нечто вроде циклопической гигантской кладки. Разорванный верхний край этих скал довершает иллюзию. Пронеслись тысячи лет над этой постройкой, чтобы разрушить карнизы, арки и башни. Услужливое воображение дорисовывает действительность. Вот остатки крепких ворот, вот основание бойницы, вот заваленные мусором базы колонн... Ведь это те самые Рифейские горы, куда Алек-

сандр Македонский на веки веков заточил провинившихся гномов.

Под такими скалами река катится черной волной с подавленным рокотом, жадно облизывая все выступы и углубления, где летом топорщится зеленая травка и гнездятся молоденькие ели и пихты. Все, что успевает вырасти здесь за лето, река смывает и безжалостно уносит с собой, точно слизывая широким холодным языком всякие следы живой растительности, осмеливающейся переступить роковую границу, за которой кипит страшная борьба воды с камнем. Барка под такими скалами плывет в густой тени: свет падает сверху рассеивающейся полосой. Сыростью и холодом веет от этих каменных стен, на душе становится жутко, и хочется еще раз взглянуть на яркий солнечный свет, на широкое приволье горной панорамы, на синее небо, под которым дышится так легко и свободно. Малейший звук здесь отдается чутким эхом. Слышно, как каплет вода с поднятых поносных, а когда они начинают работать, разгребая воду, – по реке катится оглушающая волна звуков. Команда сплавщика повторяется

эхом, несколько раз перекатываясь с берега на берег. Даже неистовая река стихает под этими скалами и проходит мимо них в почти-тельном молчании.

Самые высокие и массивные скалы – еще не самые опасные. Большинство настоящих «бойцов» стоит совершенно отдельными уте-сами, точно зубы гигантской челюсти. Опас-ность создается направлением водяной струи, которая бьет прямо в скалу, что обыкновенно происходит на самых крутых поворотах реки. Обыкновенно боец стоит в углу такого пово-рота и точно ждет добычи, которую ему бро-сит река. Душой овладевает неудержимый страх, когда барка сделает судорожное движе-ние и птицей полетит прямо на скалу... На барке мертвая тишина, бурлаки прильнули к поносным, боец точно бежит навстречу, еще один момент – и наше суденышко разлетится вдребезги. Савоська меряет глазами быстро уменьшающееся расстояние между бойцом и баркой и, когда остается всего несколько са-жен, отдает команду как-то всей грудью. Бур-лаки испуганно шарахнутся по палубе, и по-носные, эти громадные бревна, даже изогнут-

ся под напором человеческой силы. Нужно видеть, как работали Бубнов, Гришка и другие бурлаки: это была артистическая работа, достойная кисти художника. Но вот барка быстро повернула нос от бойца и вежливо проходит мимо него одним бортом; опасность так же быстро минует, как приходит, и не хочется верить, что кругом опять зеленые берега и барка плывет в совершенной безопасности.

– С коня долой! – командует Савоська.

Перед каждым бойцом, как при отвале и привале, а также и после прохода под бойцом, бурлаки усердно молятся. Такая молитва еще увеличивает торжественность критического момента, но она является самым естественным проявлением того напряженного состояния духа, который переживает невольно каждый. Хорошо делается на душе, когда смотришь на эту картину молящегося народа; и молитва, и труд, и недавняя опасность – все сливается в один стройный аккорд. Савоська на своей скамейке походит на капельмейстера. Не желая утрировать аналогию, мы все-таки сравним бурлаков с отдельными музы-

кальными нотами, из которых здесь слагается живая мелодия бесконечной борьбы человека с слепыми силами мертвой природы.

После скал и утесов главную красоту чувских берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с побуревшими вершинами придают горам суровое величие. Строгая красота готических линий здесь сливается с темной траурной зеленью, точно вся природа превращается в громадный храм, сводом которому служит северное голубое небо. Особенно красивы молоденькие пихты, которые смело карабкаются по страшным кручам; их стройные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне скал, а вершины рвутся в небо готическими прорезными стрелками. Из таких пихт образуются целые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно его убрала рука великого художника. Малейший штрих здесь блещет неувядаемой красотой: так в состоянии творить толпы, одна природа, которая из линий и красок создает смелые комбинации и неожиданные эффекты. Человеку только остается без конца черпать из этого неиссякаемого,

всегда подвижного и вечно нового источника. Особенно хороши темные сибирские кедры, которые стоят там и сям на берегу, точно бояре в дорогих зеленых бархатных шубах. Как настоящие кровные аристократы, они держатся особняком и как бы нарочно сторонятся от простых елей и пихт, которые отличаются замечательной неприхотливостью и растут где попало и как попало, только было бы за что уцепиться корнями, – настоящее лесное мужичье.

По мыскам, заливным лугам и той полосе, которая отделяет настоящий лес от линии воды, ютятся всевозможные разночинцы лесного царства: тут качается и гибкая рябина – эта северная яблоня, и душистая черемуха, и распутившаяся верба, и тальник, и кусты вереска, жимолости и смородины, и колючий шиповник с волчьей ягодой. Здесь же отдельными пролесками и островками стоят далекие пришлые люди – горькая осина с своим металлически-серым стволом, бесконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изредка липа с своей бледной, мягкой зеленью. Но теперь все эти пришлые люди и

разночинцы стоят голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими ветвями: тяжело им на чужой, дальней стороне, где зима стоит восемь месяцев. Кое-где попадаются вырубленные полосы, где рядами стояли свежие пни. Со стороны тяжело смотреть на этот результат вторжения человеческой деятельности в мирную жизнь растительного царства. Свежие поруби удивительно похожи на громадное кладбище, где за трудовым недосугом некогда было поставить кресты над могилами.

— Это все на барочки наши лес пошел, — объяснял Савоська. — Множество этого лесу изводят по пристаням... Так валом и валят!

Вся Чусовая, собственно говоря, представляет собой сплошную зеленую пустыню, где человеческое жилье является только приятным исключением. Несколько заводов, до десятка больших пристаней, несколько красивых сел — и все тут. Это на шестьсот верст протяжения. Да и селитьба какая-то совершенно особенная: высыплет на низкий мысок десятка два бревенчатых изб, промелькнет поноса огороженных покосов, и опять лес и лес, без

конца-краю. Некоторые деревушки совсем спрятались в лесу, точно гнезда больших грибов; есть починки в два-три дома. Здесь воочию можно проследить, как и где селится русский человек, когда ему есть из чего выбрать.

Из встречавшихся по пути селений больше других были пристани Межевая Утка и Кашка. Первая раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами, как на Каменке. Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелеными крышами выделялись из общей массы мужицких построек; очевидно, это были купеческие хоромины.

– Скоро шабаш, видно, Утке-то, – говорил Савоська, поглядывая на пристань.

– А что?

– А вот железную дорогу наладят, так на Утке, пожалуй, и делать нечего. Теперь барок полсотни отправляют, а тогда, может, и пяти не наберут...

– По железной дороге дороже будет отправлять металлы, чем по Чусовой.

– Дороже-то оно дороже, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Утке барки строить – вот оно что! И теперь поднимают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне леса-то по Чусовой пообились около пристаней. Ведь кажинный сплав считай барок пятьсот, а на барку идет триста дерев.

– Полтораста тысяч бревен!

– Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то какой идет на барку – самый кондовый, первый сорт! Ну, теперь и скучают по пристаням-то об лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу.

Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистощимы, но это так кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым болезненным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем запрос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами,

можно проследить по течению этой реки шаг за шагом. Владельческие участки накануне полного обезлесения, какое уже постигло некоторые заводские дачи на Урале, как, например, дачу Невьянских заводов.[27] Как бы в противовес этой картине запустения являются приятными исключениями казенные участки, но на Чусовой они представляют уже только оазисы среди захватывающего их рокового безлесного кольца. Такова, например, казенная уткинская лесная дача, а затем все пространство, начиная от деревушки Иоквы, верст семь ниже пристани Кашки, до другой деревушки Чизмы. Здесь, на расстоянии ста верст, правый берег представляет казенную собственность, и на нем леса сохранились почти неприкосновенными. Вообще эта часть Чусовой, между Иоквой и Чизмой, самая гористая и вместе самая лесистая; если между этими точками провести прямую линию и соединить ее с казенным заводом Кушвой, получится громадный треугольник, почти нетронутый нашей роковой цивилизацией. В Среднем Урале этот угол является каким-то исключением и представляет беспро-

светную лесную глушь. Вероятно, в недалеком будущем и этот обойденный потоком нашей промышленности угол разделит участь капитальных владельческих земель, но пока он представляет совсем девственную, нетронутую территорию. Его отлично защищают горы, непроходимые леса, топи.

Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает внешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный. Напротив селения правый берег Чусовой поднимается крутым каменистым гребнем, течение суживается, образуя очень опасный Кашкинский перебор. Здесь вода шумит с страшной силой, и барки летят мимо пристани, как птицы. Падение реки здесь настолько сильно, что заметно простым глазом: река катится прямо под гору. Таких мест в гористой части Чусовой немало, и река в них играет с особенной яростью.

– На что в межень – и то по Кашкинскому перебору, пожалуй, не вдруг в лодке проедешь, – объяснял Савоська. – Того гляди, выворотит вверх дном... Сердитое место.

После Кашки вплоть до Кыновской пристани, на протяжении шестидесяти верст, не встречается ни одного большого селения, а маленькие деревнюшки, вроде Иоквы, Пермяковой и Деминевой, издали представляются кучкой домиков, которые разбрелись по берегу без всякого плана и порядка. Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью, как вообще вся Чусовая. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег – и все тут. Крутом лес; напротив, через реку, крутой лесистый берег. Пермякова замечательна тем, что представляет собой типичное разбойничье гнездо. По рассказам, лет двести тому назад здесь поселился разбойник Пермяков, который грабил проходившие мимо суда, – от него и произошло настоящее население Пермяковой. Конечно, теперь о разбоях на Чусовой не может быть и речи, но Пермякова между бурлаками пользуется плохой репутацией.

– Что так? – спрашивал я Савоську.

– Да так... Когда идешь со сплаву домой, за-

светло стараешься пройти эту самую Пермскую.

– Разве здесь грабят бурлаков?

– Нет, не слышно... А так, пронес господь – и слава богу. Одним словом, небаское место... Старики-то сказывали, что сам-то Пермский, старик-от, промыслял насчет бурлаков, которые со сплаву шли. Выйдет этак с винтовкой на тропу, по которой бредут бурлаки, и караулит: который отстал от артели, он его и залобует.[28] Все же лопотина какая ни на есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется. А промысел – дома. Белку еще ищи там по лесу или оленя, а бурлачки сами идут под пулю. Может, это и неправда, – прибавил Савоська, – мало ли зря, поди, болтают про допрежние времена...

Немного пониже деревни Пермской мы в первый раз увидели убитую барку. Это была громадная коломенка, нагруженная кулями с пшеницей. Правым разбитым плечом она глубоко легла в воду, конь и передняя палуба были снесены водой; из-под вывороченных досок выглядывали мочальные кули. Поносы были сорваны. Снастью она была при-

креплена к берегу, – очевидно, это на скорую-руку устроили косные, бурлаков не было видно на берегу.

– Где же рабочие? – спрашивал я.

– Ушли, значит. Чего им теперь делать у убившей барки. Водолив должен быть во всяком случае у барки... Да вон и он. Надо полагать, за хлебом ходил. Теперь наладит себе на бережку шалашик и будет дожидать купца... Купеческая посудина-то, с верхних пристаней.

Водолив шел по берегу и неприветливо смотрел в нашу сторону.

– Чьих вы будете? – крикнул Порша, выставляя голову из люка.

Водолив что-то крикнул, но его ответ был заглушен работой поносных. Через пять минут разбитая барка скрылась из вида.

– С людьми несчастиев, значит, не было на убившей барке, – проговорил Савоська в раздумье.

– Отчего ты так думаешь?

– Кабы кого порешило, так лежал бы на бережку тут же, а то, значит, все целы остались. Барка-то с пшеницей была, она как ударилась

в боец – не ко дну сейчас, а по-маненьку и отползла от бойца-то. Это не то, что вот барка с чугуном: та бы под бойцом сейчас же захлебнулась бы, а эта хошь на одном боку да плывет.

Бурлаки долго галдели об «убившей» барке, обсуждая обстоятельства последовавшего крушения с приемами завзятых специалистов. Бубнов и Кравченко ругали сплавщика, более обстоятельные мужики вступались за него, потому что на грех мастера нет, и т. д. Новички сплава внимательно вслушивались в непонятную для них терминологию споривших.

Савоська не обращал никакого внимания на эту болтовню и время от времени тревожно поглядывал кверху, на серое небо, которое будто ниже и ниже опускалось над рекой.

– Мотросит... – проговорил он, выставя руку под накрапывавший мелкий дождь.

– А что?

– Худо будет...

Я понял этот лаконический ответ. Как всякая другая горная река, Чусовая от одного хорошего дождя может подняться на несколько

аршин, потому что все бесчисленные ручейки и речонки, которые бегут в нее, раздуваются в бешеные потоки, принося массу шальной воды.

– А где будем хвататься? – спрашивал я.

– Под Кыном надо будет хватку сделать. Эх, задарма сколько время потеряли даве, цельное утро, а теперь, того гляди, паводок от дождя захватит в камнях! Беда, барин!.. Кабы вы даве с Егором-то Фомичом покороче ели, выбежали бы из гор, пожалуй, и под Молоковым успели бы пробежать загодя... То-то, поди, наш Осип Иваныч теперь горячку порет, – с улыбкой прибавил Савоська, делая рукой кормовым знак «поддержать корму». – Поди, рвет и мечет, сердяга.

В шести верстах от деревни Пермяковой стоит на правом берегу боец Писанный. Свое название он получил от надписи, которая сделана на нем в двадцати саженях от уровня реки. Надпись выветрилась, так что ничего нельзя разобрать; с барки можно рассмотреть только высеченный в скале крест. Здесь в 1724 году родился Никита Акинфиевич Демидов, о чем и гласила надпись. Самая скала

представляет отвесный утес, поросший лесом. На противоположном низком берегу стоит массивный крест, высеченный из цельного камня. Двумя верстами ниже Писаного стоит другой боец, Столбы. Это почти правильной круглой формы известковые колонны в двадцать сажен высоты; около них поднимаются несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки.

Глядя на эти толщи настланных друг на друга известняков, сланцев и песчаников, исчерченных белыми прожилками доломита, так и кажется, что пред вашими глазами развертывается лист за листом история тех тысячелетий и миллионов лет, которые бесконечной грядой пронесли над Уралом. Чусовая в летописях геологии является самой живой страницей, где ученый шаг за шагом может проследить полную неустанного труда и всяческих треволнений автобиографию нашей старушки земли. Она была настолько преду-

предительна, что переложила все листы своей рукописи соответствующими происхождению каждого окаменелыми представителями тогдашней флоры и фауны. Но ученые с русскими фамилиями до сих пор как-то обходят своим благосклонным вниманием Чусовую, и если мы что-нибудь знаем о ней, то исключительно благодаря кропотливым исследованиям любознательных иноземцев – Р.И. Мурчисона,[29] Э. Эйхвальда и так далее. Скажем несколько слов о Чусовой именно с геологической точки зрения.

Представьте себе на месте нынешнего Урала первобытный океан, тот океан, который не занесен ни в какие учебники географии. Земля недавно родилась – недавно, конечно, только сравнительно, то есть накиньте несколько миллионов лет, – первобытный океан омывает ее, как повивальная бабка может только что появившегося на свет ребенка, а затем этот же океан в течение неисчислимых периодов времени совершает свою стихийную работу, разрушая в одном месте и созидая в другом. Из этих разрушенных частиц, которые носятся в морской воде, медленно

осаждаются все те известняки, песчаники и доломиты, которыми мы любуемся уже в готовом виде. Все это идет очень хорошо, в самом строгом порядке, но потом первобытный океан исчезает, образованные им осадочные пласты начинают подниматься и дают широкую трещину от нашего Ледовитого океана вплоть до плоской возвышенности, именуемой в географиях Усть-Уртом. Вот в эту-то трещину и выливаются наружу плутонические породы, производят страшный беспорядок в существовавшем порядке и, наконец, застывают в виде порфировых и гранитных скал, образуя основную горную ось с побочными разветвлениями. С человеческой точки зрения, вся эта история поражает своими размерами во времени и пространстве, но в жизни планеты она, вероятно, прошла так же незаметно, как складывается на нашем лице новая морщина, а на ней садится несколько прыщей. Таким образом, на Урале мы имеем, с одной стороны, плутонические породы, с другой – нептунические; первые резче выражены на восточном, сибирском склоне Урала, вторые преимущественно на западном, а

между ними, в толще осадочных нептунических пород, пробила себе дорогу Чусовая, делая тысячи интересных обнажений, разрезов, своих собственных отложений и так далее. На пластах силурийской системы вы видите постепенные наслоения горноизвестковой формации, где чередуются все эти песчаники, сланцеватые глины, известняки, пропластки доломитов. Глаз любит эти причудливыми изгибами отдельных пластов, в трещинах и изломах которых вкраплены сростки известкового кремня, гипс, слюда, гнезда металлических руд. Все это засыпано уже выветрившимися, разрушенными породами, но опытный глаз чувствует себя здесь, как в гигантской лаборатории, разрушенной в момент производившихся опытов и продолжающей работать уже на обломках и развалинах.

По Чусовой барка плывет среди великолепной геологической панорамы, распадающейся, как мозаика, на тысячи отдельных геологических картин. Эта превращенная в камень история переживает новую стихийную метаморфозу, где к силурийской и девонской формациям присоединяются новые оса-

дочные образования, как результат работы могучей горной реки и атмосферических деятелей. Едва ли где-нибудь в другом месте геолог найдет столь необозримое поле для исследований, как на Чусовой, которая с чисто геологическим терпением ждет русских ученых и русской науки, чтобы развернуть пред их глазами свои сокровища.

От Урала, как геологической морщины, мы перейдем теперь к Уралу, как нашему историческому порогу в Азию, потому что наша барка уже подплывает к устью реки Серебрянки, по которой в 1581 году Ермак перевалил в Сибирь.

Устье Серебрянки по наружному виду ничем особенным не отличается. Правый высокий берег Чусовой точно раздался широкими воротами, в которые выбегает бойкая горная речонка, – и только. Мы уже говорили выше о значении похода Ермака как завоевателя Сибири, и теперь остается только повторить, что этому походу историками и исследователями придается совсем не та окраска, какой он заслуживает. Истинными завоевателями и колонизаторами сибирской украины были го-

лутвенные и обнищальные русские людишки, а Ермак шел уже по проторенной новгородскими ушкуйниками дорожке и имеет историческое значение постольку, поскольку служил интересам исконной русской тяги к украинам, этим предохранительным клапанам нашей исторической неурядицы. Народ по достоинству оценил Ермака и поет о нем в своих былинах как о казацком атамане, составившем только голову живого казацкого тела. Казацкий атаман никогда не мог быть ни Колумбом, ни Магелланом, ни Куком; атаман был только выборным от казацкого круга, где, как во всякой общине, все равны. Он тянул за Камень, потому что туда тянул его казацкий круг.

Не доплывая до Кына верст пятнадцать, мы издали увидели вереницу схватившихся барок. Это был наш караван. Он привалил к левому берегу, где нарочно были устроены ухваты для хватки, то есть вкопаны в землю толстые столбы, за которые удобно было крепить снасть. Широкое плесо представляло все удобства для стоянки.

— За Кыном по-настоящему следовало бы

схватиться, – объяснял Савоська. – Да видишь, под самым Кыном перебор сумлительный... Он бы и ничего, перебор-от, да, вишь, кыновляне караван грузят в реке, ну, либо на караван барку снесет, либо на перебор, только держись за грядки. Одинова там барку вверх дном выворотило. Силища несветимая у этой воды! Другой сплавщик не боится перебора, так опять прямо в кыновский караван врежется: и свою барку загубит, и кыновским достанется.

Хватка – одно из самых трудных условий благополучного сплава, особенно в большую воду. Нам схватиться за готовые барки уже не представляло особенной опасности. Порша выкинул снасть на самую последнюю барку, там положили ее мертвой петлей на огниво, теперь оставалось только осторожно травить снасть – то есть, завернув ее на огниво, спускать кольцо за кольцом, чтобы несколько ослабить силу напряжения. В первый момент, когда Порша завернул канат вокруг огнива двумя петлями, он натянулся, как струна, барка вздрогнула и точно сознательно рванулась вперед. В этот критический мо-

мент, когда натянувшийся канат мог порваться, как гнилая нитка, Порша осторожно начал его спускать на огниве. От сильного трения огниво задымилось и, вероятно, загорелось бы, но Исачка вовремя облил его водой из ведерка.

– Крепи снасть намертво! – скомандовал Савоська. – С коня долой...

Все сняли шапки и помолились на восток.

– Спасибо, братцы! – коротко поблагодарил Савоська бурлаков.

– Тебе спасибо, Савостьян Максимыч... С веселенькой хваткой!

XIII

Весь берег, около которого стояло десятка два барок, был усыпан народом. Везде горели огни, из лесу доносились удары топора. Бурлаки на нашей барке успели промокнуть порядком и торопились на берег, чтобы погреться, обсушиться и закусить горяченьким около своего огонька. Нигде огонь так не ценится, как на воде; мысль о тепле сделалась общей связующей нитью.

При выходе с барки Порша с обычными причитаньями ощупывал каждого бурлака, чтобы грешным делом нечаянно не зацепил с собой полупудовой штыки. Исачка и Кравченко были осмотрены им особенно тщательно, начиная с котомки и кончая сапогами.

– А я у тебя, Порша, беспрременно сдую штыку, – шутил Исачка во время осмотра. – Верно тебе говорю...

– Без тебя знаю, что сдуюшь, – стонал Порша. – Варнаки, так варнаки и есть... Одна у вас вера-то у всех, охаверники!..

Когда очередь осмотра дошла до баб, шут-

кам и забористым островам не было конца. «У нас Порша вроде как куриц теперь щупает», – острил кто-то в толпе. Но Порша с замечательной последовательностью и философским спокойствием довершал начатый подвиг и пропустил без осмотра только одну Маришку.

– Ну, ты и так еле ноги волочишь, – проговорил Порша, махнув рукой. – Ступай себе с богом...

Появился Осип Иванович. Он совсем охрип от трехдневного крика и теперь был под хмельком.

– Где это вы все время были? – спрашивал я его.

– Как где? С караваном плыл... Ведь на всех барках нужно было побывать, везде поспеть... Да!.. У одной барки под Кашкой кормовое поносное сорвало, у другой порубень[30] ободрало. Ну что, Савоська, благополучно?

– Все благополучно, Осип Иванович... Только вот кабы дождейчик не подгадил дела.

– Ох, не говори... А все из-за этого Егорки, чтобы ему ни дна ни крыши!..

– Я то же говорю! Пожалуй, настигнет нас

паводок и камнях, не успеем выбежать...

– Ну, бог милостив... Вы с чем пьете чай: с ромом или коньяком? – обратился ко мне Осип Иваныч.

– Все равно, только поскорее чего-нибудь горяченького...

– Ха-ха... Видно, кто на море не бывал, тот досыта богу не маливался. Ну, настоящая страсть еще впереди: это все были только цветочки, а уж там ягодки пойдут. Порша! скомандуй насчет чаю и всякое прочее.

Мы поместились в каюте, где для двоих было очень удобно, то есть можно было растянуться на лавке во весь рост и заснуть мертвым сном, как спится только на воде. Огня на барке разводить не дозволяется, и потому Порша отрядил одного бурлака с медным чайником на берег, где ярко горели огни. Сальная свечка, вставленная в бутылку из-под коньяка, весело осветила нашу каюту, где все до последнего гвоздя было с иголочки и вместе сшито на живую нитку. Савоська при помощи досок устроил между скамейками импровизированный стол, на котором появилась разная дорожная провизия: яйца, колба-

са, балык, сыр и так далее.

– Савоська! Выпьешь для первого привала? – спрашивал Осип Иванович, наливая серебряный стаканчик.

– Нет, ослобоните, Осип Иванович... Не могу теперь.

– В Перми наводить будешь? Ха-ха!

– Уж как доведется, – скромно отвечал Савоська.

Скоро Порша поставил на стол медный чайник с кипяченой водой, и мы принялись пить чай из чайных чашек без блюдец. Осип Иванович усердно подливал себе то рому, то коньяку, приговаривая:

– Я, батенька, на переменных гоню: скорее доедем...

Савоська поместился с нами и пил чашку за чашкой в каком-то оторопелом состоянии, как вообще мужики пьют чай с «господами». Осип Иванович был красен до ворота рубахи и постоянно вытирал вспотевшее лицо бумажным желтым платком.

– Самая собачья наша должность, – хрипел он, дымя папироской. – Хуже каторги... А привычка – что поделаете! Ждешь не дожدهшься

этой самой каторги. Так ведь, Савоська?

– Точно так, Осип Иванович...

– То-то!.. Ты ведь у меня золото, а не сплавщик. Ну, кто у тебя на барке плавает? – уже шутливо спрашивал он.

– Да так, всякого народу довольно...

– И Даренка плавает? Знаю, знаю... Сорока на хвосте принесла. Нет, я тебе скажу, у Пашки на барке плавает одна девчонка... И черт его знает, где он такую отыскал!

Савоська улыбнулся какой-то неопределенной улыбкой и ничего не ответил.

– Вы уж меня извините, голубчик, – обратился ко мне Осип Иванович: – живой о живом и думает... Ей-богу, отличная девчонка!

– Хорошая девка на сплав не пойдет, Осип Иванович, – почтительно заметил Савоська, опрокидывая чашку вверх доньшком.

– А нам, на кой ее черт, хорошую-то? На сплав не в монастырь идут... Ха-ха!.. Нет, право, преаппетитная штучка!

Пришли сплавщики с других барок, и я отправился на берег. Везде слышался говор, смех; где-то пиликала разбитая гармоника. Река глухо шумела; в лесу было темно, как в

могиле, только время от времени вырывались из темноты красные языки горевших костров. Иногда такой костер вспыхивал высоким столбом, освещая на мгновение темные человеческие фигуры, прорезные силуэты нескольких елей, и опять все тонуло в окружающей темноте.

Я долго бродил между огней. Где варились каша в чугунных котелках, где уже спали вповалку, накрывшись мокрым тряпьем, где балагурили на сон грядущий. Исачка и Кравченко, конечно, были вместе и упражнялись около огонька в орлянку; какой-то отставной солдат, свернувшись клубочком на сырой земле, выкрикивал сиповатым баском: «Орел! Орешка!..» Можно было подумать, что горло у службы заросло такой же шершавой щетиной, как обросло все лицо до самых глаз. Двое фабричных и один косной апатично следили за игрой, потягивая крючки из серой бумаги.

– Ошарашим по стаканчику? – говорил Исачка, улыбаясь глазами.

В другом месте, под защитой густой ели, расположилась другая компания: на первом плане лежал, вытянувшись во весь рост,

Гришка; он спал богатырским сном. В ногах у него, как собачонка, сидела Маришка и апатично сосала беззубым ртом какую-то корочку. Тут же сидел на корточках чахоточный мастеровой, наклонившись к огню впалой грудью; очевидно, беднягу была жестокая лихорадка, и он напрасно протягивал над самым огнем свои высохшие руки с скрюченными пальцами. Псаломщик, скорчившись, сидел на обрубке дерева и курил папиросу.

– Садитесь к огоньку, – предложил мне фабричный.

Я подсел к будущему дьякону, который вежливо уступил мне часть своего обрубка. Наступило короткое молчание.

– Мы тут про разбойника Рассказова разговариваем, – глухо заговорил мастеровой. – Он на Чусовой разбойничал...

– А давно это было?

– Да лет полсотни тому будет. Чудесный был человек, такие слова знал, что ему все нипочем. Сколько раз его в Верхотурье возили в острог. Посадят, закуют в кандалы, а он попросит воды испить – только его и видели... Верно!.. Ему только дай воды, а уж там

его не удержишь: как сквозь землю провалится. Замки целы, стены целы, окна целы, а Рассказов уйдет, точно по воде уплывет. Сила, значит, в ней, в воде-то. Один надзиратель в остроге-то и похвастался, что не выпустит Рассказова, и не стал ему давать воды совсем, а все квас да пиво. В десятый раз, может, Рассказов-то сидел тогда... Ну, а Рассказов все-таки ушел: нарисовал на стенке угольком лодочку и ушел, ей-богу... Разные он слова знал! Ищут его теперь по лесу, окружили, деваться совсем Рассказову некуда, а он скажет слово, да всем глаза и ответит...

– Как глаза ответит?

– Да так: из глаз уйдет, все равно как потемки напустит... Тоже вот разными голосами умел говорить, сам в одном месте, а закричит в другом. Бросятся туда – а Рассказова и след простыл.

Мне не один раз приходилось слышать на Чусовой рассказы о разбойнике Рассказове с самыми разнообразными вариациями; бурлаки любят эту темную, полумифическую личность за те хитрости, какими обходил Рассказов своих врагов. Главное, Рассказов никогда

не трогал своего брата мужика, а только купцов и богатых служащих. Притом он не проливал человеческой крови, что ставилось всеми рассказчиками разбойнику в особенную заслугу. У этого Рассказова на Чусовой был устроен в пещере разбойничий притон, где он хоронил награбленные сокровища. Мужичья фантазия, как и фантазия привилегированных людей, здесь к маленьким былям, очевидно, щедрой рукой подсыпала большие небылицы.

Свой рассказ мастеровой закончил глухим чахоточным кашлем.

– Нездоровится? – спрашивал будущий дьякон.

– Какое уж тут здоровье... Мы на катальной машине робили, у огня. В поту бьешься, как в бане. Рубаха от поту стоит коробом... Ну, прохватило где-то сквозняком, теперь и чахну: сна нет, еды нет.

– А семья у тебя есть?

– Как же... Ребяенок трое, жена. Старика тоже воспитываю... У нас на заводе рано в старики записываются, сорок лет – и старик. Мой-то старик робил на сортовой катальной,

где проволоку телеграфную тянут, а тут к тридцати годам без ног наш брат. Работа вся бегом идет... В семье-то нас два работника, а вместо работников выходит два едока. В до-прежние времена всем калекам и не способным к тяжелой работе было место: кого куда рассуют, а ноне другие порядки: извелся на работе – и ступай куды глаза глядят. Машины везде пошли, гонят народ...

– Это вроде как у нас тоже, – вставил свое слово будущий дьякон. – У нас хоть и нет машин, а тоже гонят изо всех мест. Меня из духовного училища выгнали за то, что табаку покурил... Прежде лучше было: налупят бок, а не выгонят.

– Лучше было, что говорить! – повторял мастеровой, хватаясь рукой за грудь. – Знамо, что лучше... Как уж и жить будем! Тоже не от сладкого, поди, житья с нами, мужиками, у поносного обедню служишь?

Псаломщик только встряхнул гривой и посмотрел на свои медвежьи лапы.

– А я к дождю-то больно разнемогся вечер, – прибавил мастеровой, запахивая вытертый суконный халат около шеи. – Вишь,

как частит!.. Другие в мокре стоят – ничего, только пар от живого человека идет, а меня цыганский пот пробирает.

К огню подошла пара. Это был Савоська. Он шел, закрыв широким чекменем востроглазую заводскую бабенку, которая работала у нас на передней палубе. Увидев меня, он немного смутился, а потом проговорил:

– Вот места сухонького ищем... Зарядил, видно, наш дождичек, так и сыплется, как скрозь решето.

– Рано завтра отвалит караван?

– А кто его знает? Как Осип Иваныч.

Подруга Савоськи засмеялась, показывая белые зубы.

– На два вершка воды прибыло в Чусовой, – заметил Савоська, подсаживаясь к огоньку. – Ужо что утро скажет...

На барке сидел один Порша, ходивший по палубе, как часовой. Осипа Иваныча не было; он ночевал где-то на берегу. Река глухо и зловеще шумела около бортов, в ночной темноте нельзя было рассмотреть противоположного берега.

Ночь я провел самую тревожную и просы-

пался несколько раз. Казалось, что около барки живым клубом шипела и шевелилась масса змей. Когда я проснулся, наша барка подплывала уже к Кыновской пристани. В окошечко каюты сквозь мутную сетку дождя едва можно было рассмотреть неясные очертания гористого берега. Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот. «Кыну» по-пермяцки значит «холодный», и действительно, в Среднем Урале не много найдется таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где все точно придавлено. Караван кыновской успел уже отвалить до нас; на берегу едва можно было рассмотреть ряды заводских домиков, совсем почерневших от дождя.

– На пол-аршина вода прибыла за ночь, – как-то таинственно сообщил мне Савоська, когда барка прошла Камасинский перебор.

– Опасно?

– Середка на половине... А та беда, что дож-

дик-то не унимается. Речонки больно подпирают Чусовую с боков: так разыгрались, что на-поди! А чем дальше плыть, тем воды больше будет.

— А где Осип Иваныч?

Савоська только махнул рукой, движением головы показав на барку Пашки, которая теперь казалась мутным пятном.

Бурлаки стояли на палубах тихо; лица вытянулись, пропитанные водой лохмотья глядели еще жалче. Богатырь Гришка стоял под своей «губой» в одной пестрядевой рубахе, которая облепила его тело мокрой тряпицей; Маришка посинела и едва волочилась за ходившим поносным. Бубнов нарядился в какую-то женскую кацавейку и, чтобы согреться, работал за десятерых. На задней палубе тоже не было веселых лиц, за исключением неугомонной востроглазой Даренки, которая, кажется, очень хорошо познакомилась с Кравченком и задорно хихикала каждый раз, когда тот отпускал каламбуры. Большинство лиц было серьезно, с тем апатично-покорным выражением, с каким относятся к каждому неизбежному злу: если некуда деваться, так,

значит, нужно робить и под весенним дождем. Желая согреть бурлаков, Савоська делал совсем ненужные удары поносными направо и налево, но подгубчики сразу видели эту политику насквозь, и работа шла вяло, через пень-колоду.

– Три аршина три четверти! – крикнул Порша, меряя воду наметкой.

Савоська промолчал, а только потуже подпоясался и глубже нахлобучил на голову свою шляпу, точно приготавливаясь вступить в рукопашную с невидимым врагом.

Прибывавшая вода скоро дала себя почувствовать. Барка плохо слушалась поносных и неслась вперед с увеличивавшейся скоростью. На бойких местах она вздрагивала, как живая.

– Нос налево! Постарайтесь, родимые! – кричал Савоська, стараясь взглядеться в мутную даль. – Голубчики, поддорми корму! Сильно-гораздо поддорми!..

Порша показывался на палубе только для того, чтобы сердито плюнуть и обругать неизвестно кого. В одном месте наша барка правым бортом сильно черкнула по камню;

несколько досок были сорваны, как соломинки.

– Барка убившая... – слышался шепот.

Впереди под бойцом можно было рассмотреть только темную массу, которая медленно поднималась из воды. Это и была «убившая» барка. Две косных лодки с бурлаками причаливали к берегу; в воде мелькало несколько черных точек – это были утопающие, которых стремительным течением неудержимо несло вниз.

– Наша казенная барка... Гордей плыл, – проговорил Савоська, всматриваясь в тонущую барку. – Сила не взяла...

«Убившая» барка своим разбитым боком глубже и глубже садилась в воду, чугун с грохотом сыпался в воду, поворачивая барку на ребро. Палубы и конь были сорваны и плыли отдельно по реке. Две человеческие фигуры, обезумев от страха, цеплялись по целому борту. Чтобы пройти мимо убитой барки, которая загораживала нам дорогу, нужно было употребить все наличные силы. Наступила торжественная минута.

– Ударь нос направо, молодцы!!! Сильно-го-

раздо ударь!!! – не своим голосом крикнул Савоська, когда наша барка понеслась прямо на убитую.

Трудно описать то ощущение, какое переживаешь каждый раз в боевых местах: это не страх, а какое-то животное чувство придавленности. Думаешь только о собственном спасении и забываешь о других. Разбитая барка промелькнула мимо нас, как тень. Я едва рассмотрел бледное, как полотно, женское лицо и снимавшего лапти бурлака.

– Как же они остались там? – спрашивал я Савоську, оглядываясь назад.

– Ничего, косные снимут. Нам вон тех надо переловить...

В косную, которая была при нашей барке, бросились четверо бурлаков. Исачка точно сам собой очутился на корме, и лодка быстро полетела вперед к нырявшим в воде черным точкам. На берегу собрался народ с убитой барки.

Около Кына и дальше Чусовая имеет крайне извилистое течение, делая петли и колена. На этих изгибах расположены четыре очень опасных бойца. Сначала Кирпичный, на пра-

вой стороне. Это громадная скала, точно выложенная из кирпича. Затем, на левом берегу, в недалеком расстоянии от Кирпичного нависла над самой рекой громадная скала Печка. Свое название этот боец получил от глубокой пещеры, которая черной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на «цело» печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьезные опасности для плывущих мимо барок, но эти опасности усложняются еще тем, что сейчас за Печкой стоит другой, еще более страшный боец Высокий-Камень. Если сплавщик побоится Печки и пройдет подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадет на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струей. Чусовая под этими бойцами делает извилину в форме латинской буквы S; в первом изгибе этой буквы стоит Печка, во втором – Высокий-Камень. Сам по себе Высокий-Камень – один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в пятьдесят сажен

высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых десяти верст... У этих двух бойцов в высокую воду бьется много барок. Высокий-Камень отделяет от себя еще новый боец, Мултык, который считается очень опасным. Бойцы поменьше, как Востряк в пяти верстах от Кына и Сосун в четырнадцать, – в счет нейдут.

В двадцати верстах от Кына стоит казенная пристань Ослянка; с нее отправляются казенное железо, вырабатываемое на заводах Гороблагодатского округа. Около Ослянки каким-то чудом сохранились две вогульские деревушки, Бабенки и Копчик. Обитатели этих чувовских деревушек для этнографа представляют глубокий интерес как последние представители вымирающего племени. Когда-то вогулы были настолько сильны, что могли воевать даже с царскими воеводами и Ермаком, а теперь это жалкое племя рассеяно по Уралу отдельными кустами и чахнет по местным дебрям и трущобам в вопиющей нужде. Сохранили же чувовские известняки разных *Amplexus multiplex*, *Fenestella Veneris*, *Chonetes sarcinulata*[31] и так далее, а от вогул останет-

ся только смутное воспоминание.

В тридцати четырех верстах от Кына стоит камень Ермак. Это отвесная скала в двадцать пять сажен высоты и в тридцать ширины. В десяти саженьях от воды чернеет отверстие большой пещеры, как амбразура бастиона. Попасть в эту пещеру можно только сверху, спустившись по веревке. По рассказам, эта пещера разделяется на множество отдельных гротов, а по преданию, в ней зимовал со своей дружиной Ермак. Последнее совсем невероятно, потому что Ермаку не было никакого расчета проводить зиму здесь, да еще в пещере, когда до Чусовских Городков от Ермака-камня всего наберется каких-нибудь полтора-два верст. В настоящее время Ермак-камень имеет интерес только в акустическом отношении; резонанс здесь получается замечательный, и скала отражает каждый звук несколько раз. Бурлаки каждый раз, проплывая мимо Ермака, непременно крикнут: «Ермак, Ермак!..» Громкое эхо повторяет слово, и бурлаки глубоко убеждены, что это отвечает сам Ермак, который вообще был порядочный колдун и волхв. Даже Савоська ве-

рил в чудеса Ермака.

– Пять!.. – кричал Порша, прикидывая своей наметкой. – Ох, подымает вода!..

– Придется сделать хватку, – говорил Савоська. – Вечор Осип Иваныч наказывал, ежели вода станет на пять аршин, всему каравану хвататься...

– Опасно дальше плыть?

– Опасно-то опасно, да тут пониже есть деревушка Кумыш... Вот она где сидит, эта самая деревушка, – прибавил Савоська, указывая на свой затылок.

– А что?

– Больно работы много за Кумышом, да и место бойкое... Есть тут семь верст, так не приведи истинный Христос. Страшенные бойцы стоят!..

– Молоков?

– Он самый, барин. Да еще Горчак с Разбойником... Тут нашему брату сплавщику настоящее горе. Бойцы щелкают наши барочки, как бабы орехи. По мерной воде еще ничего, можно пробежать, а как за пять аршин перевалило – тут держись только за землю. Как в квашонке месит... Непременно надо до Кумыша

схватиться и обождать малость, покамест вода спадет хоть на пол-аршина.

– А если придется долго ждать?

– Ничего не поделаешь. Не наш один караван будет стоять... На людях-то, бают, и смерть красна.

– Братцы, утопленник плывет... утопленник! – крикнул кто-то с передней палубы.

В воде мимо нас быстро мелькнуло мертвое тело утонувшего бурлака. Одна нога была в лапте, другая босая.

– Успел снять один-то лапоть, сердяга, а другой не успел, – заметил Савоська, оглядываясь назад, где колыхалась в волнах темная масса. – Эх, житье-житье! Дай, господи, царство небесное упокойничку! Это из-под Мултыка плывет, там была убившая барка.

Бурлаки приуныли. Картина плывшего мимо утопленника заставила задуматься всех. Особенно приуныли крестьяне. Старый Силантий несколько раз принимался откладывать широкие кресты.

– Нет, придется схватиться, – решил Савоська, поглядывая на серое небо. – Порша! Приготовь снасть!.. Вон Лупан тоже налажи-

вається хвататись.

Бурлаки обрадовались возможности обсушиться на берегу и перехватить горяченького. Ждали лодки, на которой Бубнов отправился спасать тонувших бурлаков. Скоро она показалась из-за мыса и быстро нас догнала.

– Двоих выдернули, – объявил Бубнов, когда лодка причаливала к барке. – Одного я схватил прямо за волосья, а он еще корячится, отбивается... Осатанел, как заглотнул водицы-то!

XIV

Вторая хватка для нас не была так удачна, как первая. Пашка схватился на довольно бойком перекате, но с нашей барки не успели вовремя подать ему снасть. Пришлось самим делать хватку прямо на берегу. Снасть, закрепленная за молоденькую ель, вырвала дерево с корнем, и барку потащило вдоль берега, прямо на другие барки, которые успели схватиться за небольшим мыском. Волочившаяся по берегу снасть вместе с вырванной елью служила тормозом и мешала правильно работать. Произошла страшная суматоха; каждую минуту снасть могла порваться и разом изувечить несколько человек. Бедный Порша метался по палубе с концом снасти, как петух с отрубленной головой. Нужно было во что бы то ни стало собрать снасть в лодку и устроить новую хватку по всем правилам искусства.

– Руби снасть! – скомандовал Савоська Бубнову.

Повторять приказания было не нужно. Бубнов на берегу обрубил канат в том месте,

где он мертвой петлей был закреплен за вырванное дерево. Освобожденный от тормоза канат был собран в лодку, наскоро была устроена новая петля и благополучно закреплена за матерую ель. Сила движения была так велика, что огниво, несмотря на обливание водой, загорелось огнем.

– Крепи снасть намертво! – скомандовал Савоська.

Канат в последний раз тяжело шлепнулся в воду, потом натянулся, и барка остановилась. Бежавший сзади Лупан схватился за нашу барку.

По правилам чусовского сплава, каждая барка обязана принять снасть на свое огниво со всякой другой барки, даже с чужого каравана. Это нечто вроде международного речного права.

– Отчего ты не выпустил каната совсем? – спрашивал я Поршу. – Тогда косные собрали бы его в лодку и привезли в барку целым, не обрубая конца...

– А как бы я стал мокрую-то снасть на огниво наматывать? Што ты, барин, Христос с тобой! Первое – мокрая снасть стоит коробом,

не наматывается правильно, а второе – она от воды скользкая делается, свертывается с огнива... Мне вон как руки-то обожгло, погляди-ко!

Порша показал свои руки, на которых действительно красными подушками всплыли пузыри.

Было всего часов двенадцать дня. Самое время, чтобы плыть да плыть, а тут стой у берега. Делалось обидно за напрасно уходившую воду и даром потраченное время на стоянку.

– Пять аршин с вершком выше межени, – проговорил Порша, прикидывая свою наметку в воду.

А дождь продолжал идти с немецкой последовательностью, точно он невесть какое жалованье получал за свою работу. На бурлаках не было нитки сухой.

– Надо первым делом разыскать, где здесь кабак, – разрешил все недоуменья Бубнов. – Простоим долго...

– Типун тебе на язык, Исачка!

– Не от меня будете стоять, милые, а от воды. Говорю: первым делом кабак отыскать...

– Какой тебе в лесу кабак, отпетая душа?

– Должон быть беспрременно... На Чусовой да водки не найти – дудки!.. Хлеба не найдешь, а водку завсегда. Тут есть пониже ма-ленько одна деревнюшка...

– Всего двенадцать верст, – заметил Савось-ка, – и на твою беду как раз ни одного кабака. Народ самый непьющий живет, двоеданы.[32]

– Для милого дружка семь верст не околиц-ца, Савостьян Максимыч. А с двоеданами я этой водки перепил и не знаю сколько: сначала из отдельных рюмок пьют, а потом – того, как подопьют – из одной закатывают, как и мы грешные. Куда нас деть-то: грешны, да бо-жьи.

– У меня не разбродиться по берегу, – гово-рил Савоська почти каждому бурлаку, пока Порша производил неизбежную щупку, – а то штраф... На носу это себе зарубите. Слышали?

– А как насчет харчу?

– Пока доедайте у кого что припасено, а там косные привезут всякого провианту.

– Ну, уж это тоже на воде вилами писано, – ворчал Бубнов.

В общих чертах повторилась та же самая

картина, что и вчера: те же огни на берегу, те же кучки бурлаков около них, только недовстаивало вчерашнего оживления. Первой заботой каждого было обсушиться, что под открытым небом было не совсем удобно. Некоторые бурлаки, кроме штанов и рубахи, ничего не имели на себе и производили обсушивание платья довольно оригинальным образом: сначала снимались штаны и высушивались на огне, потом той же участи подвергалась рубаха.

– У святых угодников еще меньше нашего одежи было, да не хуже нашего жили, – утешал всех Бубнов, оставшись в одной рубахе.

Место хватки было самое негостеприимное: крутой угор с редким лесом, который даже не мог защитить от дождя. Напротив, через реку, поднималась совсем голая каменистая гряда, где курице негде было спрятаться. Пришлось устраивать шалаши из хвои, но на всех не хватало инструмента, а к Порше и приступиться было нельзя. Кое-как бабы упростили его пустить их обсушиться под палубы.

– Пусти их в самом-то деле, Порша, – про-

сил вместе с другими Савоська. – Не околе-
вать же им... Тоже живая душа, хоть баба.

– А у меня курятник, что ли, барка-то? – ру-
гался Порша.

– Может, и в самом деле по яичку снесут,
как обсушатся, – острил кто-то.

– Ах, будьте вы все прокляты!! Савостьян
Максимыч! Я тебе больше не слуга... Только
Осип Иваныч приедет, сейчас металл буду
сдавать. Вот те истинный Христос!!

– Перестань божиться-то, Порша! Неровен
час – подавишься!

Дождь продолжал идти; вода шла все на
прибыль. Мимо нас пронесло барку без перед-
них поносных; на ней оборвалась снасть во
время хватки. Гибель была неизбежна. Бурла-
ки, как стадо баранов, скучились на задней
палубе; водолив без шапки бегал по коню и
отчаянно махал руками. Несколько десятков
голосов кричали разом, так что трудно было
что-нибудь разобрать.

– Лодку у них унесло водой, – догадался Са-
воська. – Эй, братцы, кто побойчее – в лодку
да захватите запасную снасть.

Порша не давал было снасти, но его кое-

как уговорили. Лодка с Бубновым на корме понеслась догонять уплывавшую барку.

– Постарайтесь, братцы! – кричал Савоська вслед. – Тут верстах в пяти есть изворот; кабы не убила барка-то...

– Успеем! – отозвался Бубнов, не поворачивая головы.

– Молодцевато плывут! – любовался Савоська, следя глазами за удалявшейся лодкой. – Все наши камешки... Уж на воде лучше их нет, а на берегу не приведи истинный Христос.

В казенке опять появился медный чайник и чашки без блюдец.

Пришел Лупан.

– Больно не ладно, Савостьян Максимыч, – проговорил старик, усаживаясь на лавочку.

– На что хуже, дедушко Лупан.

Лупан придерживался старинки, хотя и являлся с православными. Он даже не пил чаю, который называл антихристовой травой.

– Ты не гляди, что она трава, ваш этот самый чай, – рассуждал старик. – А отчего ноне все на вонтаранты пошло? Вот от этой самой травы! Мужики с кругу снились, бабы балу-

ются... В допрежние времена и звания не было этого самого чаю, а народу было куды вольготнее. Это уж верно.

– А как же, дедушко, по деревням люди божий маются еще хуже нашего? – спрашивал Порша, любивший пополоскать свою требушину кипяченой водой. – Там чай еще не объявился и самоваров не видывали...

– Там своя причина! Земляной горох[33] стали есть – ну и бедуют. Всему есть причина... Враг-то силен!

В душе Лупана жило непоколебимое убеждение, что все злобы нашего времени происходят от табаку, картофеля и чаю. На первый раз такое оригинальное миросозерцание кажется смешным, но стоит внимательнее взглянуть в то, что табак, картофель и чай служили для Лупана только символами вторгнувшихся в жизнь простого русского человека иноземных начал. Впрочем, может быть, Лупан смотрел на дело гораздо проще, без всякой символики. В мужицкой голове еще сохранились воспоминания о тех картофельных бунтах, какие разыгрывались на Урале во времена еще не столь отдаленные. Табак и

чай завоевали права гражданства на Руси более мирным путем и своей антихристовой силой постепенно побеждают даже завзятых раскольников.

– А вот что мы будем делать, дедушко, как дождь с неделю пройдет? – спрашивал Савоська. – Вода не страшна, да народ-то взбеленится... Наши пристанские да мастерки-то останутся, – только дай им поденную плату, – вот крестьянишки – те беспрременно разбегутся.

– Уйдут, – соглашался Лупан. – Севодни двадцать восьмое число, говорят, а там Еремей-запрягальничек на носу... Уйдут!

– Как же мы останемся без бурлаков? – спрашивал я.

– Да уж, видно, так как бог велит. Заводы придется запереть, чтобы народ согнать на караван. Не иначе...

Эти ожидания оправдались в тот же день вечером, когда к берегу привалила косная Осипа Иваныча. «Пиканники» собрались в одну кучу и глухо зашумели, как волны прилива.

– А... бунт!! – зарычал Осип Иваныч, меряя

глазами собравшуюся толпу. – Ах мошенники, протобестии!

– Бялеты, Осип Иванович... Нам ждать не доводится! – слышались нерешительные голоса в толпе.

– Что-о?? Как?! – взметнулся Осип Иванович, отыскивая коноводов. – Почему... а?! Кто это говорит, выходи вперед!

Таких дураков не нашлось, и Осип Иванович победоносно отступил, пообещав отдуть лычагами[34] каждого, кто будет бунтовать. Крестьянская толпа упорно молчала. Слышно было, как ноги в лаптях топтались на месте; корявые руки сами собой лезли в затылок, где засела, как у крыловского журавля, одна неотступная мужицкая думушка. Гроза еще только собиралась.

– Уйдут варнаки, все до последнего человека уйдут! – ругался в каюте Осип Иванович. – Беда!.. Барка убилась. Шесть человек утонуло... Караван застрял в горах! Отлично... Очень хорошо!.. А тут еще бунтари... Эх, нет здесь Пал Петровича с казачками! Мы бы эту мужландию так отпарировали – все позабыли бы: и Егория, и Еремея, и как самого-то зовут.

Знают варнаки, когда кочевряжиться... Ну, да не на того напали. Шалишь!.. Я всех в три дуги согну... Я... у меня, брат... Вы с чем: с коньяком или ромом?..

– Как же мы дальше поплывем, Осип Иванович, если народ разбежится? – спрашивал я.

– Как? Э, все вздор и пустяки: нагонят народ с заводов.

– Да ведь долго будет ждать. Вода успеет уйти за это время...

– И пусть уходит, черт с ней! Второй вал выпустят из Ревды. Не один наш караван омекает, а на людях и смерть красна. Да, я не успел вам сказать: об нашу убитую барку другая убилась... Понимаете, как на пасхе яйцами ребятишки бьются: чик – и готово!.. А я разве бог? Ну скажите ради бога, что я могу поделать?..

Власть положительно вскружила голову Осипу Ивановичу, и личное местоимение «я» сделалось исходным пунктом его помешательства. Как все «административные» головы, он в каждом деле прежде всего видел свое «я», а потом уж других.

Бубнов вернулся на косной только к вече-

ру. Лица гребцов были красные, языки заплелись.

– Где вы, черти, пропадали? – накинулся на них Порша.

– На хватке были...

– А шары-то где налили?

– Говорят, на хватке...

– Да ты не вертись, как береста на огне, а сказывай прямо: в деревню успели съездить?.. Ну?..

Бубнов посмотрел на Поршу, покрутил головой и проговорил:

– Насчет харча, Порша... Вот те истинный Христос!..

– Оно и видно, за каким вы харчем ездили: лыка не вяжете.

– А ты благодари бога, что снасть тебе в целости-сохранности привезли... Вот мы какие есть люди: кругом шестнадцать... То-то! А барку мы пымали... нам по стаканчику поднесли. В четырех верстах отседова пымали. Мне снастью руку чуть-чуть не отрезало.

– Надо бы обе вместе отрезать: не стал бы воровать...

– Порша, мотри!

– Я и то гляжу.

Оказалось, что Бубнов с компанией действительно привезли и харчу, то есть несколько ковриг хлеба. Между прочим, бурлаки захватили целого барана, которого украли и спрятали под дном лодки. Эта отчаянная штука была в духе Исачки, обладавшего неистощимой изобретательностью.

– Шкурку променял на водку, а тут и закуска, – отшучивался Исачка. – Только бы Осип Иваныч не узнал... А ежели увидит, скажу, что купил, когда хозяина дома не было.

Другим бурлакам оставалось только удивляться и облизываться, когда Исачка принялся жарить свою добычу. На его счастье, Осип Иваныч спал мертвым сном в казенке.

Всю ночь около огней, где собрались крестьянские «артелки», шли разговоры о том, как быть со сплавом, которому не предвиделось и конца. С одной стороны, «кондракт», «пачпорты» в руках Осипа Иваныча, порка в волостном правлении, а с другой – до Еремея оставалось всего «два дни». «Выворотиться» – было общей мыслью, о которой старались не говорить и которая тем настойчивее лезла в

голову. Другой не менее важной общей мыслью была забота о «пропитале», в частности – о харчах. В самом деле, не еловую же кору глодать, сидя на пустом берегу.

– Вам поденные будут платить, – говорил я старику Силантию, у которого теперь не было даже заплесневелых сухарей.

– По кондракту, барин, обязаны поденные платить, а нам это не рука... Куды мы с ихними поденными?..

– Осип Иваныч обещал по полтине каждому в сутки.

– И рупь даст, да нам ихний рупь не к числу. Пусть уж своим заводским да пристанским рубли-то платят, а нам домашняя работа дороже всего. Ох, чтобы пусто было этому ихнему сплаву!.. Одна битва нашему брату, а тут еще господь погодье вон какое послал... Без числа согрешили! Такой уж незадачливый сплав ноне выдался: на Каменке наш Кирило помер... Слышал, может?

– Слышал.

– Так без погребения и покинули. Поп-то к отвалу только приехал... Ну, добрые люди похоронят. А вот Степушки жаль... Помнишь,

парень, который в огневице лежал. Не успел оклематься[35] к отвалу... Плачет, когда провозжал. Что будешь делать: кому уж какой предел на роду написан, тот и будет. От пределу не уйдешь!.. Вон шестерых, сказывают, вытащили утопленников... Ох-хо-хо! Царствие им небесное! Не затем, поди, шли, чтобы головушку загубить...

– А ваша артель не выворотится, Силантий?

– Ничего не знаю, барин, ничего... Не работа, а один грех! Больно галдят наши-то хрестьяны. Так и рвутся по домам. Вот не знаем, сколь времени река не пустит дальше...

– Этого никто не знает.

– Вот в том-то и беда.

На другой день, когда я проснулся, Осип Иваныч в бессильной ярости неистовствовал на барке. Около него собрались кучки бурлаков.

– Ведь убежали! – встретил он меня.

– Кто убежал?

– Да мужландия... Целая артель убежала. Помните этого бунтовщика... ну, старичонка, борода клинышком: он всю артель за собой

увел. Жалею, что не отпорол этого мерзавца еще на Каменке. Ну, да наше не уйдет... Я еще доберусь до него... я... я...

– Какой бунтовщик? Я что-то не припомню?

– Ах, господи... Ну, как его там звали, Савоська?

– Силантием, Осип Иванович. У носового поносного робил с артелью.

– Подлецы, подлецы, подлецы!

«Мужландия» не вытерпела, наконец, и «выворотилась».

– Шесть аршин над меженью! – крикнул Порша, меряя воду.

– Не может быть? Ты не умеешь мерять... – усомнился Осип Иванович, выхватывая наметку из рук Порши.

– Как вам будет угодно. Осип Иванович... – обиделся водолив. – Уж если я не умею воду мерять, так после этого... Позвольте расчет, Осип Иванович!..

– Убирайся ты к черту, дурак! Не до тебя! Ах, черт возьми, действительно шесть аршин над меженью!.. Ведь это целых две сажени... Паводок в две сажени!..

– Севодни ночью две барки пронесло мимо, Осип Иваныч, – докладывал Савоська. – Должно полагать, с ухвата сорвало или снасть лопнула... Так и тарабанит по Чусовой, как дохлых коров.

А дождь продолжал свою работу, не останавливаясь ни на минуту.

В течение каких-нибудь трех дней Чусовая превратилась в бешеного зверя. Это былдвигающийся потоп, ломавший и уносивший все на своем пути. Высота воды достигала шести с половиной аршин, а вместе с каждым вершком прибывавшей воды увеличивалась и скорость ее движения. При низкой воде вал идет по реке со скоростью пяти с половиной верст в час, а теперь он мчался со скоростью восьми верст; барка по низкой воде делает в час средним числом верст одиннадцать, а по высокой – пятнадцать и даже двадцать. В последнем случае все условия сплава совершенно изменяются: там, где достаточно было сорока человек, теперь нужно становить на барку целых шестьдесят, да и то нельзя поручиться, что вода не одолеет под первым же бойцом.

Сила напора водяной струи была так велика, что нашу барку привязали к ухвату еще вторым канатом. Кругом все по-прежнему было серо. Берег превратился в стоянку каких-то дикарей. Бурлаки не походили на самих себя:

спали в мокре и грязи, почернели от дыма, отощали. Оказалось несколько больных, которые лежали под прикрытием своих шалашиков. О медицинской помощи нечего было и думать, когда не было хлеба и харчей. Вся надежда оставалась на то, как и при лечении дорогих патентованных врачей, что авось человек «сам отлежится». До ближайшей деревни было верст двенадцать, но попадать туда было крайне замысловато: горой, то есть по берегу, нельзя было пройти – не пускали разбушевавшиеся горные речки; по Чусовой, конечно, можно было попасть, но тяжело было возвращаться назад против течения. Даже отчаянный Бубнов – и тот отказывался от поездки в деревню, хотя сам второй день сидел впроголодь. Осип Иваныч больше не показывался к нам на барку.

– Где он пропадает? – спрашивал я у Савоськи.

– У Пашки на барке и днюет и ночует... Народ голодает, а он плешничает.

На третий день нашей стоянки «выворотилась» вторая крестьянская артелька. Это случилось как раз первого мая, в день Еремея-за-

прягальника. На этот раз побег «пиканников» был встречен всеми равнодушно, как самое обыкновенное дело. Нервы у всех притупились, овладевала та апатия, которая создается безвыходностью положения. Оставались пристанские бурлаки и «камешки», этим некуда было бежать, благо заплатят поденщину.

На четвертый день стоянки скрылись башкиры. Они сделали это так же незаметно, как вообще оставались незаметными все время сплава.

– Уж куда эта нехристь торопится – ума не приложу! – ругался Порша. – Крестьянин – тот к пашне рвется, а эта погань куда бежит? Робить не умеет, а туда же бежит... Чисто как лесное зверье, прости ты меня, господи!..

В казенке, кроме меня, помещался теперь будущий дьякон, а ночевать приходил еще чахоточный мастеровой. Время тянулось с убийственной медленностью, и один день подходил как две капли воды на другой. Иногда забредет старик Лупан, посидит, погорюет и уйдет. Савоська тоже ходил невеселый. Одним словом, всем было не по себе, и все были рады поскорее вырваться отсюда.

Под палубой устроилась целая бабья колония, которая сейчас же натащила сюда всякого хламу, несмотря ни на какие причитания Порши. Он даже несколько раз вступал с бабами врукопашную, но те подымали такой крик, что Порше ничего не оставалось, как только ретироваться. Удивительнее всего было то, что, когда мужики голодали и зябли на берегу, бабы жили чуть не роскошно. У них всего было вдоволь относительно харчей. Даже забвенная Маришка – и та жевала какую-то поземину, вероятно свалившуюся к ней прямо с неба.

– И откуда у них что берется? – удивлялся Порша. – Ведь и на берег, почитай, совсем не выходят, а, глядишь, все жуются... Оказия, да и только!..

– Ты на штыки-то смотри, Порша, – советовал Савоська. – Бабы – они, конечно, бабы, а все-таки и за ними глаз да глаз нужен...

– Смотрю, Савостьян Максимыч... Кажинный день поверяю чуть не всю барку. Все ровно в сохранности, как следовало тому быть.

Другое обстоятельство, которое очень беспокоило Поршу, заключалось в том, что из

Бубнова, Кравченки и Гришки составиллся некоторый таинственный триумвират. Их постоянно видели вместе. Будущий дьякон уверял, что несколько раз слышал, как они шептались между собой.

– Уж, наверно, это Исачка какую-нибудь пакость сочиняет, – уверял Порша. – Недаром они шепчутся...

Все дело скоро объяснилось.

Однажды, когда Порша пред рассветом дремал на палубе, что-то булькнуло около барки. Порша бросился на подозрительный звук и увидал, во-первых, Маришку, которая не успела даже спрятаться в люк, во-вторых, доску, которая плыла около барки.

– Ты что тут делаешь? – закричал Порша, бросаясь ловить доску багром.

Маришка ничего не ответила и продолжала стоять на том же месте, как пень. Когда доска была вытащена из воды, оказалось, что снизу к ней была привязана медная штыка. Очевидно, это была работа Маришки: все улики были против нее. Порша поднял такой гвалт, что народ сбежался с берегу, как на пожар.

– Ах ты, паскуда! Ах, шельма! – вопиял Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу. – Сказывай, кто тебя научил украсть штыку?

Забитая бабенка, оглушенная всем случившимся, только вся вздрагивала и испуганно поводила кругом остановившимися, бессмысленными глазами. Порша дал ей несколько увесистых затрецин, встряхнул за шиворот и, как кошку, бросил на палубу.

– Задувай ее, курву, Порша! – крикнул кто-то из толпы.

Этот нервный крик, требовавший возмездия за поправленное право, сразу наэлектризовал Поршу, и он принялся обрабатывать Маришку руками и ногами.

– Ты ее по рылу-то, Порша, по рылу! – поощрял какой-то бурлак с барки Лупана, почесывая руки от нетерпения. – А потом по льну дай раза, суке этакой... Ишь, плеха, не хочет на ногах стоять!

Маришка действительно от каждого удара Порши комком летела с ног, вызывая самый искренний смех собравшейся публики. Это побоище продолжалось с четверть часа, пока

не явился заспанный Савоська.

– Что вы тут делаете? – спрашивал он.

– Порша Маришку учит, – обязательно объяснял кто-то.

– Ах вы, дураки... Порша, оставь! Отцепись, деревянный черт, тебе говорят! – кричал Савоська, стараясь оттащить Поршу от Маришки.

– Она штыку украла! – хрипел Порша, выкатывая налитые кровью глаза.

– Дурак!.. Да на что ей штыку? Надо сперва разобрать дело, а ты...

– Я... я... она украла штыку... – повторял Порша. – Запирается...

– А ежели окажется, что не она украла штыку?

Порша на мгновение задумался, потом вдруг бросил на палубу свою шапку и запричитал:

– Нет, я тебе не слуга, Савостьян Максимыч... Ищи другого водолива!.. Я – шабаш, только металл сдать Осипу Иванычу.

Составилось нечто вроде народного суда. Савоська стал допрашивать Маришку, как было дело, но она только утирала рукавом

грязного понитка[36] окровавленное избитое лицо с крупным синяком под одним глазом и не могла произнести ни одного слова.

– Кто тебя научил, говори? – допрашивал Савоська.

Молчание. Маришка только на мгновение поднимает свои большие, когда-то, вероятно, красивые глаза и с изумлением обводит ими кругом ряд суровых или улыбающихся лиц. На одно мгновение в этих глазах вспыхивает искра сознания, по изможденному, сморщенному лицу пробегает нервная дрожь, и опять Маришка погружается в свое тупое, одеревелое состояние, точно она застыла.

– Ты ей поддуй раза, Савостьян Максимыч... Заговорит небось.

Голос знакомый. Оборачиваюсь: это говорит чахоточный мастеровой. Лицо у него злое и совсем позеленело, глаза горят лихорадочным возбуждением. Он вытягивает вперед свою тонкую шею и сжимает костлявые кулаки.

– Гришка с Бубновым идут! – слышался шепот.

– Ну, ступай, черт с тобой! – заканчивает

свой суд Савоська. – Вот придет Осип Иванныч, тогда твое дело разберем...

– Хоть бы лычагами постегать, Савостьян Максимыч! – просит чей-то голос. – Чтобы вперед было неповадно...

Бубнов и Гришка подходили к барке как ни в чем не бывало. Толпа почтительно расступилась перед ними, давая дорогу к тому месту, где стояла Маришка. Услужливые языки уже успели сообщить Гришке о подвиге Маришки.

Гришка, не говоря ни слова, так ударил Маришку своим десятипудовым кулаком, что несчастная бабенка покатила по земле, как выброшенный из окна щенок.

– Наливай ее! – поощрял Бубнов, давая Маришке несколько пинков ногой. – Ишь притворилась... Язва! Валяй ее, зачем воровать не умеет... Под другой глаз наладь ей!

На Маришку посыпался град ударов. Собравшаяся толпа с тупым безучастием смотрела на происходившую сцену, и ни на одном лице не промелькнуло даже тени сострадания. Нечто подобное мне случилось видеть только один раз, когда на улице стоя собак

грызла больную старую собаку, которая не в состоянии была защищаться.

Когда я обратился к Савоське с просьбой остановить эту бойню, он только пожал плечами.

– За что он ее бьет? – спрашивал я. – Может быть, окажется, что и не она украла штыку...

– Да ведь она жена ему, Гришке-то? – удивился мужик.

– Ну так что из этого, что «жена»?

– Жена – значит, своя рука владыка. Хошь расшиби на мелкие крошки – наше дело сторона... Ежели бы Гришка постороннюю женщину стал этак колышматить, ну, тогда, известно, все заступились бы, а то ведь Маришка ему жена. Ничего, барин, не поделаешь...

Коротко и ясно.

После Гришкиной науки Маришка замертво была стащена куда-то в кусты.

Вечером, когда явился Осип Иваныч, было произведено строжайшее следствие по делу о краже медной штыки Маришкой. Оказалось следующее: вся механика кражи была устроена, конечно, Бубновым, в чем он и сознался, когда улики были все налицо.

– Ну рассказывай, братец, как ты штыку у Порши воровал? – допрашивал Осип Иваныч Исачку.

– Да что тут рассказывать-то; Осип Иваныч, – хвастливо отвечал Бубнов. – Известное дело... Мы с Гришкой да с Кравченком, значит, в уговоре были, а Маришка должна была штыку с барки пущать. Кравченко пуцал сверху от берегу доску по реке. Маришка ее ловила, потом привязывала штыку и спускала в воду. А мы, значит, с Гришкой должны были ловить доску и плотик уже наладили, да Маришка, окаянная, подвела.

– Значит. Маришка только вам помогала?

– Выходит, видно, так, – соглашался Бубнов.

– Ну, это дело мировой судья в Перми разберет... А теперь скажите, зачем вы Маришку до полусмерти избили?

– Это не я, а Гришка, Осип Иваныч. Кабы я бил Маришку, так сразу бы ее убил... Ей-богу! Все дело испортила...

Гришку даже не спрашивали, зачем он колотил жену.

– Уж я спустил бы им три шкуры, – ругался

Осип Иваныч, – да теперь без них нельзя... Что будете делать? Головорезы!.. Бубнов, шельма, знает, что рабочие до зарезу нужны, и бахвалится. Уж я ему прописал бы, ежели бы Пал Петрович здесь был... я... Ну, да черт с ними! Вы с чем будете чай пить?

Немного погодя в казенку явился Бубнов.

– Я до твоей милости, Осип Иваныч.

– Ну, чего тебе?

– Да вот мы с Гришкой да с Кравченком пришли...

Гришка и Кравченко показались в дверях.

– Ну?

– Уж лучше прикажи лычагами наказывать нас, Осип Иваныч, а к мировому не таскай. Посадят на выsidку, тебе от этого не легче будет.

– А как Порша?

– Да уж с Поршей как ни на есть помиримся... Четверть водки ему поставим, леший его задери.

Составлен был совет из Савоськи, Порши и Лупана. Пошумели, побранились и порешили, что не в пример лучше отодрать воров лычагами, а то еще в Перми по судам с ними

таскайся да хлопочи. Исполнение этого решения было предоставлено косным, которые устроили порку тут же на палубе. Всем троем было дано по десяти лычаг.

– Ну, вперед у меня чтобы ни-ни!.. – кричал Осип Иваныч, пока наказанные приводили в порядок необходимые принадлежности костюма. – А то всех к черрту.

– А без нас тоже не далеко уплывешь, Осип Иваныч, – говорил Бубнов, поправляя рубашку. – Крестьяны-то все, видно, разбежались, нам же доведется робить...

– С вами, разбойники, с вами! Только вы душеньку всю из меня вытянули, распротоканали...

Этот невинный эпизод неудавшегося воровства точно послужил сигналом для погоды, которая, наконец, заметно начала разгуживаться, хотя вода держалась на прежнем уровне. Крестьяне поголовно бежали со всех караванов, несмотря ни на какие угрозы и самые заманчивые обещания. Одним словом, выражаясь языком наших администраторов, произошел настоящий бунт.

– Только подождем, как вода спадет на

пять аршин, сейчас побежим. – говорил Савоська. – Недоколе нам здесь ждать... Последний народ разойдется.

– Да ведь по такой высокой воде опасно плыть?

– Не одни мы поплывем, барин. И другие прочие караваны с нами поплывут тоже... Уж кому што достанется, тот тем, значит, и владай.

Всеми овладело вполне понятное нетерпение, когда вода, наконец, пошла на убыль. Дождь перестал. Высыпала по взлобочкам и на солнечном пригреве первая травка, начали разворачиваться почки на березе. Только серые тучи по-прежнему не сходили с неба, точно оно было обложено кошмами, и недоставало солнца.

Когда вода спала на три четверти аршина, подошла партия бурлаков из Кыновского завода. Нужно было дорожить временем, чтобы не запоздать. Новые бурлаки нанесли самых невеселых новостей, которые главным образом вертелись около «убивших» барок на камнях, то есть между Уткой и Кыном. Их считали десятками. Вообще нынешний сплав

задался совсем не в пример прошлым годам, и получалась невероятная цифра крушений, когда еще не было пройдено и половины пути.

– Под Высоким-Камнем, рассказывают, шесть барок убивших, – рассказывал один мастеровой в розовой ситцевой рубашке. – Да под Печкой две... Страсть господня! У нас под Кыном две коломенки затонули тоже. Так и поворачивает эта самая вода!

Кыновские мастеровые как две капли воды походили на мастеровых других горных заводов; такой же отчаянный народ, вышколенный с детства работой на фабрике. Соседство Чусовой придавало им бурлацкий закал и природную страсть к воде, чем кыновляне особенно славятся.

– Ну, братцы, как-то мы теперича поплывем! – слышались голоса в собравшихся кучках бурлаков.

– Двух смертей не будет, одной не миновать...

– В семьдесят третьем году не экую страсть видели, да ничего, господь пронес.

– Уж известно: все от господа. Обнаковен-

но...

Сплав семьдесят третьего года надолго останется в памяти чусовлян. Это был совершенно исключительный год, может быть даже единственный за целое столетие. Из шестисот барок тогда разбилось шестьдесят четыре барки да обмелело тридцать семь, то есть из пяти барок дошли до Перми только четыре, тогда как средним числом бьется из тридцати барок одна. Интересно проследить, от каких причин произошли крушения и обмеления в этом году. Из шестидесяти четырех убитых барок тридцать шесть потерпели крушение от естественных опасностей сплава, семь – от тесноты, пятнадцать – вследствие столкновения судов между собой, пять – при причале к берегу о подводные камни и от разрыва снастей, одна подрезана льдом; из тридцати семи обмелевших барок двадцать три судна были занесены ветром и четырнадцать обмелели от неосторожности и неизвестных причин. В общем выводе, теснота при сплаве дает сорок процентов всех несчастий с барками. Случалось так, что все чусовские караваны мелели во всем своем составе, как это бы-

ло в 1851, 1866 и 1867 годах, когда требовался для их сплава вторичный выпуск воды из Ревдинского пруда; бывали годы, что из всех караванов разбивалось три-четыре барки, и даже был такой один год, когда совсем не было ни крушений, ни обмелений, именно 1839-й. Потери рабочих, понятное дело, возрастают с числом убитых барок; каждый сплав погибнет три-четыре человека, но бывают страшные года, когда число убитых и утонувших людей возрастает до страшной цифры в сто человек.

XVI

Мы простояли на одном месте целых пять дней, что в сплавное горячее время очень много.

– Мы севодни отваливаем, – говорил Савоська утром шестого дня.

– А сколько над меженью воды стоит?

– Пять аршин без вершка...

Я посмотрел на Савоську, желая убедиться, что он пошутил. Но Савоська смотрел совершенно серьезно и прибавил:

– На свету ревдинский караван пробежал... Того гляди, с других пристаней коломенки налетят, тогда хуже будет. Осип Иваныч еще вчера заказали, чтобы все было готово к отвалу.

– А сколько народу у нас на барке?

– Человек с сорок пять наберется – не наберется.

– Мало...

– Все, сколь есть...

Теперь все было понятно: если ревдинский караван пробежал, так нам уж не статья была сидеть у моря и ждать погоды. Все думали одно и то же: ревдинские уплыли – и мы уплы-

вем, а как уплывем – это другой вопрос.

Наша барка и барка Лупана стали готовиться к отвалу. Бурлаки опять потащились с своими котомками под палубы; у поносных встали те же подгубщики. Убежавших «пиканников» заменили кыновскими мастерами, но людей было мало вообще, а для такой высокой воды в особенности. Но великий русский «авось» на воде, может быть, даже больше, чем на суше.

Когда все было готово на обеих барках, все стало нетерпеливо поглядывать вверх по реке, где из-за мыска должна была показаться барка Пашки. Как только она показалась, отвалил Лупан, а через десять минут и мы.

– Ну, братцы, теперь будет работы досыта, – говорил Савоська бурлакам. – Постарайтесь...

Чусовая мчалась теперь в горах бешеным валом, который точно когтями рвал по пути землю и уносил молодые деревья десятками. Барка делала в час больше двадцати верст, что при постоянных поворотах реки создавало массу новых препятствий. Горы заметно понижались, не было такой цепи утесов, как

до Кына. Мало-помалу прояснилось и небо, точно над горами поставили голубой шатер, затканый всеми переливами солнечного света. В бездонной выси поплыли серебристыми грядами белогрудые облачка. Наконец мы увидели солнце, которое было скрыто от наших глаз в течение целой недели. При ярком солнечном свете, заливавшем берега струившейся волной, самые опасности не были так страшны, как в ненастье. Отдохнувшие и обсохшие люди молодецки срывали поносные, точно стараясь наверстать столько потерянного даром времени. Только одна Маришка представляла резавшее глаз исключение: все лицо у нее вздулось под один багровый пузырь, начинавший зеленеть по краям. Одна губа была рассечена, левый глаз едва смотрел из-под отекавшей брови.

– Чистые звери, вишь чего сделали из бабенки, – пожалел Савоська несчастную Маришку. – Вон какие патреты наладили на роже-то...

До Кумыша мы уже встретили несколько разбитых барок. Одна из них была подрезана льдом. Несколько утопленников лежали на

берегу под рогожкой. Одного откачивали на разостланных зипунах. Белое тело мертвым движением перекатывалось в руках качавших, а русая голова болталась в такт раскачиваний.

– Царствие небесное упокойничку...

Впечатление от второго «упокойника» не было так сильно, как от первого. Бурлаки отнесли к нему совершенно пассивно, как к самому заурядному делу. Да оно и понятно: теперь на барке исключительно работали пристанские и заводские бурлаки, которые насмотрелись на своем веку на всяких «упокойников».

Немного ниже убитой барки нам пришлось «отуриться» под бойцом, то есть идти дальше кормой вперед, что иногда делается в опасных местах. Барка была на волосок от гибели, и только присутствие духа и находчивость Савоськи спасли ее. Лупан тоже «отурился», а Пашка потерял кормовое поносное.

Перед самым Кумышом мы набежали еще на две убитых барки. Картина была та же, что и раньше: от барки выставлялась только крыша, на берегу собрались кучками бурлаки, ле-

жало несколько «упокойников» и так далее.

– Вот и Кумыш! – слышались голоса, когда впереди на берегу показалась небольшая деревня.

Деревня Кумыш не представляет собой ничего особенного среди других глухих чувских деревушек. Савоська пристально посмотрел на ближайшие избышки и только покачал головой.

– Ни единой живой души во всей деревне нет, – проговорил он.

– На сплав ушли?

– Мужики на сплав, а остальной народ убежал к бойцам... Много, надо полагать, там убивших барок.

Бойцы, расположенные за деревней Кумышом, представляют последнюю каменную преграду, с какой борется Чусовая. Старик Урал напрягает здесь последние силы, чтобы загородить дорогу убегающей от него горной красавице. Здесь Чусовая окончательно выбегает из камней, чтобы дальше разлиться по широким поемным лугам. В камнях она едва достигает пятидесяти сажен ширины, а к устью разливается сажен на триста.

– С коня долой! – скомандовал Савоська, когда издали послышался глухой шум.

На барке давно стояла мертвая тишина; теперь все головы обнажились и посыпались усердные кресты. Народ молился от всей души той теплой, хорошей молитвой, которая равняет всех в одно целое – и хороших и дурных, и злых и добрых. Шум усиливался: это ревел Молоков.

– Постарайтесь, братцы... Нос налево! По-хаживай, молодцы, веселенько... Сильно-го-раздо ударь нос-от!!! Милые, постарайтесь!

Под Молоковым и Разбойником, как под Печкой и Высоким-Камнем, река делает два последовательных оборота, причем бойцы стоят в углах этих поворотов, и струя бьет прямо на них с бешеной силой.

Скоро мы завидели и Молоков. Это была громадная скала, стоявшая к верховьям реки покатым ребром, образуя наклонную плоскость, по которой вода взбегала пенящимся валом на несколько сажен и с ужасным ревом скатывалась обратно в реку, превращаясь в белую пену. Вся река под Молоковым представляла белую вспененную массу, точно

кипящее молоко; отсюда и название бойца Молоков. Другим ребром боец выступал в реку, точно выдвигая каменный таран. Отброшенная скалой вода пересекает реку наискось вплоть до противоположного берега, образуя целую гряду ревущих майданов; они далеко бегут вниз по реке, точно стадо белых овец. Сила движения воды здесь настолько велика, что за бойцом образуется суводь, то есть вода тихим током медленно возвращается к бойцу, что можно заметить по плывущей вверх по реке пене. Таким образом, с одной стороны страшная гряда майданов, а рядом с ней совершенно тихая полоса суводи. Получается поразительный контраст, резко обозначенный водяным рубцом.

Трудность прохода под Молоковым заключается в следующем: водяная струя бьет прямо в скалу, делая здесь угол, и идет к следующему бойцу, Разбойнику; барка должна пересечь эту струю под Молоковым в самом углу, чтобы дальше попасть в суводь. Если она этого не успеет сделать и попадет на майданы, ее неудержимо унесет прямо на Разбойника. Чтобы не попасть ни на первый, ни на второй

боец, барке приходится перерезать реку в косом направлении, с одного мыса на другой, причем ей необходимо переваливать через рубец. Но расстояние между бойцами всего две версты, и барка не в состоянии при условиях своего движения и при страшной быстроте течения вовремя перерезать струю за первым бойцом, если не перебьет ее под самым бойцом. Получается роковая дилемма: если барка пройдет далеко от первого бойца и не перережет струи в углу, она разобьется о второй боец; если барка не побоится бойца, то какое-нибудь одно просчитанное мгновение – и она в щепы разобьется о каменный выступ. При мерной воде эта мудреная задача разрешается сравнительно легче, но при высокой все зависит от сплавщика: нужно иметь крепкую душу, чтобы не дрогнуть, когда на вас понесется боец... Именно в таких боевых местах начинает казаться, как при всяком быстром движении, что не сам движешься, а все кругом летит мимо тебя с увеличивающейся, захватывающей дух скоростью.

– Три убившихся барки... – прошептал Савоська, вглядываясь в бежавший навстречу

боец, — И заплавни выброшены на берег... Лупан пробежал, кажется, благополучно.

Около самых опасных бойцов, как Косой, Бражка, Владычный, Волегов, Узенький, Дужной, Кирпичный, Печка, Мултык, Горчак, Молоков и Разбойник, в воду спускаются деревянные брусья, составленные из четырех восьмивершковых бревен. Они огораживают боец подвижной деревянной рамой, которая укрепляется в скале деревянными пружинами, то есть громадными брусьями, которые при ударе барки о заплавни несколько подаются вбок и этим уменьшают силу удара. Такие заплавни несколько предохраняют барки от крушений, но при высокой воде первая налетевшая на боец барка ломает их и даже выбрасывает на берег. Когда мы подходили к Молокову, заплавни не действовали: пружины были сломаны, и брусья лежали на берегу.

Наша барка подходила к бойцу в мертвом молчании. Майданы ревели все сильнее. В воздухе висела водяная пыль, садившаяся на лицо паутиной. С каждым мгновением расстояние между баркой и бойцом делалось все меньше и меньше. Можно было рассмотреть

все впадины и трещины на ожидавшей нас скале. Бурлаки прильнули к поносным; ни одного звука, ни одного движения. Савоська застыл на своей скамеечке в одной позе и не сводит глаз с шестика, который укреплен на носу нашей барки, как прицел на ружье. Вот барка врезалась носом в kloкочущую грядку майданов и тяжело колыхнулась, точно ее подхватили тысячи могучих рук и понесли на боец. До страшного выступа всего несколько сажен, чувствуешь, как холодеет внутри, в глазах рябит... Чувство физического ужаса овладевает всеми одинаково, сознание едва теплится. Нет, скорее что-нибудь одно: или конец, или счастливый исход, только не эти страшные мгновения страшного ожидания. Кажется, что все погибло, спасения нет... Вон сосенка на скале, а там, на берегу, мелькают какие-то люди. Гребни волн обдают палубу дождем брызг... В каком-то полусне слышишь сорвавшуюся команду; когда до бойца остается всего несколько аршин, поносные с страшной силой падают в воду, поднимаются, опять падают... Барка повернулась к бойцу боком и прошла около него всего на расстоянии ка-

ких-нибудь шести четвертей, можно рукой достать, но ведь это всего одно мгновение, и не хочется верить, что опасность промелькнула, как сон, и так же быстро теперь бежит от нас, как давеча бежала навстречу. Мы в суводи, барка плывет ровно, навстречу поднимаются по реке клочья пены. Впереди две исковерканные массы, около которых бурлит вода: это «убившие» барки. На берегу десятки людей, которые разбились на отдельные кучки. Все смотрят на боец, к которому теперь бежит Пашка.

– Ох, Пашка не ладно отрабатывает от камня!.. – как-то застонал Савоська, оглядываясь назад. – Нет, не пересекет струю...

Пашкина барка прошла дальше нашей от Молокова и попала на майданы. Видно, как бежит по палубе водолив со своей наметкой. Поносные судорожно загребают воду, но струя отбрасывает барку каждый раз, когда она хочет перевалить через рубец в суводь.

– Шабаш, под Разбойником зарежет барку! – говорит Савоська, махнув рукой. – Сила не берет...

Хорошие сплавщики редко обвиняют дру-

гих сплавщиков в неудачах, а стараются свалить вину на что-нибудь другое.

Но нам теперь не до Пашки, а до себя. Две версты промелькнули в пять минут, и впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который подымает свою каменную голову на пятьдесят сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем.

– Похаживай, молодцы! – покрикивает Савоська, когда барка начинает подходить к мысу.

Когда мы вышли из-за мыса и полетели на Разбойника, нашим глазам представилась ужасная картина: барка Лупана быстро погружалась одним концом в воду... Палуба отстала, из-под нее с грохотом и треском сыпался чугун, обезумевшие люди соскакивали с борта прямо в воду... Крики отчаяния тонувших людей перемешались с воем реки.

– О чужую убившую барку Лупан убился, – объяснил Савоська.

Действительно, из-за барки Лупана теперь можно было рассмотреть расщепанную корму другой барки, на которой уже никого не было. Нам пришлось пройти рядом с тонув-

шей баркой Лупана, которую тихо заворачивало кормой вниз. Несколько человек бурлаков успели перескочить к нам; какой-то несчастный старик поскользнулся и упал в воду, где и скрылся сейчас же под захлестнувшей его волной. Сам Лупан оставался на барке и с замечательным хладнокровием отвязывал прикрепленную к борту неволю. Несколько черных точек ныряло в воде, это были спасшиеся вплавь бурлаки. Редкий из них не тащил за собой своей котомки в зубах. Расстаться с котомкой для бурлака настолько тяжело, что он часто жертвует из-за нее жизнью: барка ударилась о боец и начинает тонуть, а десятки бурлаков, вместо того чтобы спасаться вплавь, лезут под палубы за своими котомками, где часто их и заливают водой.

Мы пробежали мимо Разбойника совсем благополучно. За Разбойником весь берег был усыпан бурлаками с убившихся здесь барок, которых насчитывали больше десятка. Эта картина страшного разрушения быстро промелькнула мимо нас, оставляя в душе самое смутное впечатление. Несколько утонувших бурлаков лежали на берегу, двоих откачива-

ли на холстах, которые притащили бабы из Кумыша. Среди больших покойников выдавался только труп мальчика лет двенадцати. Он лежал на левом боку, с голыми ногами, в одной розовой ситцевой рубашке, точно спал. Вероятно, это был ученик сплавщика. Три бабы стояли около него и с соболезнованием смотрели на бездушное детское тело. А солнце так весело освещало весь берег и Чусовую, точно кругом была идиллия.

– Вон Пашка летит на боец...

Я оглянулся. Пашка действительно прямо бежал на роковой гребень. Бурлаки выбивались из сил, работая поносными. Издали казалось, что по палубам каталась какая-то серая волна, точно барка делала конвульсивные движения, чтобы избежать рокового удара. Но все напрасно: еще одно мгновение – и барка Пашки врезалась одним боком в выступ скалы, послышался треск ломавшихся досок, крик людей, грохот сыпавшегося чугуна, а поносные продолжали все еще работать, пока не сорвало переднюю палубу вместе с поносными и людьми и все это не поплыло по реке невообразимой кашей. Доски, люди, бревна –

все смешалось в живую кучу, которая барахталась и ползла под бойцом, как раздавленное пятидесятиголовое насекомое. От берега к бойцу плыли косные лодки, чтобы спасти погибающих.

– Эка страсть, милостивый господь, – шепчет кто-то в ужасе. – Народичку сколько погибнет позанапрасну...

Мы можем пожалеть только об одном, что в среде русских художников не нашлось ни одного, кто в красках передал бы все, что творится на Чусовой каждую весну.

Бойцы под Кумышом, как мы уже сказали выше, составляют последнюю каменистую преграду течению Чусовой; дальше она течет в холмистых берегах и разливается все шире и шире. Сообразно изменяющимся условиям течения меняются и условия сплава: «убившие» барки больше не встречаются; за редкими исключениями, на сцену выступают мели и огрудки, которыми усеяно все течение Чусовой вплоть до самого устья. Но впечатлений от прохода «в камнях» слишком много, и бурлаки долго передают взаимные наблюдения, воспоминания и примеры. Героями являются все те же бойцы, о которые бьются коломенки, а действующие лица, бурлаки, фигурируют в этих рассказах в форме специфического *chair a boietz*...[37]

– Одначе здорово нонче Чусовая играет! – говорит Бубнов, работавший под Молоковым и Разбойником за десятерых. – Барок с тридцать убьется в камнях... Один Разбойник залобовал уж десяток, да еще Лупан с Пашкой нарезались. Уж наши ли казенские сплавщи-

ки не люты проходить под бойцами, а тут сразу две барки...

– Сила не берет.

– Известно, кабы сила... Тут только держись за грядки. Ведь пять аршин над коренной водой бежим... Дьякон даве под Молоковым страсть испужался нашей бурлацкой обедни! Помушнел весь...

– Осип-то Иваныч на косной обѣхал бойцы, – передает Даренка своей подруге Оксе.

– Один?

– Нет... Испужался, видно.

До Кумыша чусовское население можно назвать горнозаводским, за исключением некоторых деревень, где промышляют звериной или рыбной ловлей; ниже начинается сельская полоса – с полями, нивами и поемными лугами. Несколько сел чисто русского типа, с рядом изб и белой церковью в центре, красиво декорируют реку; иногда такое село, поставленное на крутом берегу, виднеется верст за тридцать.

Нам скоро попало несколько обмелевших барок. Около них кипела самая горячая работа; десятки бурлаков стояли в воде с чеге-

нями и под дружную «Дубинушку» старались столкнуть барку. Работа пятидесяти-шестидесяти человек при пятнадцати тысячах груза на каждой барке – крайне тяжелая и опасная.

– Нам здесь хуже, чем в камнях, – объяснял Бубнов. – Под бойцом либо пан, либо пропал, а здесь как барка залезла на огрудок – прова-ландаешься дня три в воде-то. А тут еще перегрузка, чтобы ей пусто было!

– Зато насчет водки здесь свободно...

– Хошь обливайся, когда гонят в ледяную воду или к вороту поставят. Только от этой работы много бурлачков на тот свет уходит... Тут лошадь не пошлешь в воду, а бурлаки по неделям в воде стоят.

В одном месте, где Чусовая особенно широко разлилась в низких берегах, у самой воды на камешке сидел мальчик и замечательно хорошо пел какую-то заунывную песню.

– Наигрывай, голубчик, наигрывай себе на здоровье! – улыбнулся Савоська, поглядывая на берег. – Ишь как разбирает!

Меня удивило явно враждебное отношение Савоськи к маленькому певцу; бурлаки смеялись тоже над ним, а Бубнов попробовал

даже попасть в мальчишку камнем.

– Зачем бурлаки смеются над мальчишкой? – спросил я.

– Это над парнишком-то?.. А то и смеются, что больно хорошо песню задувает... Ишь какой дошлый!.. Много их по весне здесь распевает, а бурлаки или сплавщик зазевался, глядишь, барка и приткнулась на огрудок.

– Ну, а парнишка тут при чем?

– Его крестьяны из деревни подослали, чтобы работы себе добыть, ежели барка омекает... Пой, милый, пуще старайся!..

Бурлаки рассказывали, что для вящего соблазна плывущих мимо барок на «сумлительных» местах на берегу появлялись девки, раздевались и начинали купаться в глазах у бурлаков. Насколько это справедливо – не ручаюсь. По словам тех же бурлаков, для приманки иногда устраиваются на берегу уж совсем нецензурные сцены... Вероятно, здесь много добавлено пылкой фантазией, как в рассказах о поющих морских сиренах,[38] которых слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей.

– Вот те Христос, своим глазом видел! – бо-

жился Бубнов. – Мы как-то с Андрияшкой из-под Сулему бежали, под Камасином этих самых плех и видели, совсем нагишом и в воде валандаются, как лягуши. Верно тебе говорю, хошь у кого спроси... Пиканники, те хитрые-мудреные, ежели их разобрать. Здесь все пиканники пойдут; наши заводские да чувовские в камнях остались.

Работы теперь было значительно меньше, чем в камнях, где постоянно приходилось то отрабатывать от бойцов, то перебивать струю. Река текла заметно медленнее, и только местами попадались перекаты. Иногда на широком плесе можно было рассмотреть до десятка барок. Вообще картина получалась очень оживленная. Особенно была заметна резкая климатическая разница сравнительно с камнями: там зелень едва пробивалась, а здесь поля уже давно стлались зеленым ковром и на деревьях показались первые клейкие весенние листочки, точно покрытые лаком. Солнце начинало сильно припекать и даже жгло спину, особенно тем, которые были в одних рубашках.

– Который бог вымочил, тот и высушил, –

говорил Кравченко, сильно прихворнувший на последней хватке после стеганья лычагами.

– Отчего сплавщики не заведут себе карты Чусовой, чтобы удобнее было запомнить течение, мели, таши и повороты? – спрашивал я у Савоськи.

– У нас один приказчик эк-ту тоже поплыл было с картой, – отвечал Савоська, – да в остожье[39] и заплыл...

Под селом Вереи, которое стоит на крутом правом берегу, наша барка неожиданно села на огрудок благодаря тому, что дорогу нам загродила другая барка, которая здесь сидела уже второй день. Сплавщики обеих барок ругнули друг друга при таком благоприятном случае, но одной бранью омелевшей барки не снимешь. Порша особенно неистовствовал и даже плевал в сплавщика соседней барки, выкрикивая тончайшим фальцетом:

– Не стало тебе, рыжей багане, места-то в реке, зачем дорогу заградил?

Рыжий сплавщик обиделся, что его называли «баганой», и ответил в том же тоне, так что наш Порша даже завизжал от злости, точ-

но его облили серной кислотой. Посыпалась горохом терпкая мужицкая ругань, в которой бурлаки обеих барок приняли самое живое участие.

– А тебе черт ли не велел держать правее? – оправдывался рыжий сплавщик. – За поясом, что ли, у тебя глаза-то были?

– Ах, рыжий дьявол!.. Ах, рыжая багана!.. – завывал Порша, неизвестно для какой цели бегая по барке с шестом в руках.

Наконец это даровое представление надое-ло той и другой стороне, нужно было подумать, как сниматься с огрудка.

– Чего тут думать: думай не думай, а надо запускать неволю, – решил Бубнов. – Вот мы с Кравченком и пойдем загревать воду, только чтобы нам за труды по первому стакану водки...

«Неволей» называется доска, длиной сажень в пять и шириной вершков четырех, она обыкновенно вытесывается из целого дерева. Таких неволь при каждой барке полагается две, они плывут у бортов.

– Надо бы подождать косных, – говорил Савоська, – да кабы долго ждать не пришлось...

– Где их ждать! – кричал Бубнов. – Они проваландаются с убившими барками до морковкина заговенья, а мы еще десять раз успеем сняться до них...

На огрудки садятся и самые опытные сплавщики, потому что эти мели часто появляются на таких местах, где раньше проходил для барки был совершенно свободен. Обычно в «сумлительных» местах плывут по наметке, постоянно меряя воду. В данном случае Савоська поздно увидел омелевшую барку, прикрытую мысом, так что не было никакой возможности вовремя отработать от огрудка. Омелевшая барка повернулась кормой на струю и, таким образом, загородила дорогу нашей; Савоська побоялся убиться о корму и «переправил». Бурлаки отлично понимали весь ход дела и не роптали на сплавщика, как водится в таких случаях у плохих и «средственных» сплавщиков.

– Ведь черт его знал, что он тут сидит! – рассуждали бурлаки, срывая злобу на чужом сплавщике. – Кабы знать, так не то бы и было... Мы вон как хватски пробежали под Молоковым, а тут за лягушку запнулись.

– Все чистенько бежали, а тут грех вон где попутал... Ну, Порша, налаживай снасть.

Действие неволи при съемках барок заключается в том, что при ее помощи производят искусственную запруду: струя бьет в неволю, поставленную в воде ребром, и таким образом помогают барке сняться с мели. Когда спустят неволю, с другой стороны барку сталкивают чегенями и в то же время в соответствующем направлении работают поносными.

Наша барка зарезала огрудок правым плечом, оставив струю влево, следовательно, чтобы опять выйти в вольную воду, нам необходимо было отуриться, то есть повернуть корму налево, на струю, и дальше идти несколько времени кормой вперед. Порша отвязал от левого борта неволю и широким концом подвел ее к левому плечу; свободный конец неволи, привязанный к снасти, был спущен с кормового огнива так, чтобы струя била в неволю под углом. Чтобы произвести запруду, оставалось только повернуть неволю на ребро и удержать ее в этом направлении все время, пока барку с другой стороны, под кормо-

вым плечом, бурлаки будут сталкивать чегенями. Работать на неволе – необходимо иметь известную сноровку и ловкость. Бубнов и Кравченко вызвались на неволю и, оставшись в одних рубахах, с ловкостью записных бурлаков разом очутились на колыхавшейся осклизлой доске. Бубнов укрепил свой чегень в дыре, какие сделаны на обоих концах неволи, и ждал, пробуя воду голыми ногами, когда Кравченко устроит то же самое с противоположным концом неволи. Добраться до этого конца, выходявшего на струю, было не легкой задачей; неволя под ногами Кравченки колыхалась и вертелась, как фортепьянная клавиша, пока он не добрался до конца, на который и сел верхом.

– Готово! – крикнул он, ожигаясь от холодной воды.

Человек двадцать были уже в одних рубашках и с чегенями в руках спускались по правому борту в воду, которая под кормовым плечом доходила им по грудь. Будущий дьякон был в числе этих бурлаков, хотя Савоська и уговаривал его остаться у поносных с бабами. Но дьякону давно уже надоели остроты и

шутки над ним бурлаков, и он скрепя сердце залез в воду вместе с другими.

– Мотри, не пожалей после, – говорил Савоська. – Твое дело не обычное, как раз замерзнешь... Вода вешняя, терпкая.

– Ничего, как-нибудь! – говорил дьякон дрогнувшим голосом; зубы у него так и стучали от холода.

У поносных остались бабы, чахоточный мастеровой и несколько стариков. Не идти в воду на съемке – величайшее бесчестие для бурлака, и только крайность, нездоровье или дряхлость служат извиняющим обстоятельством.

Когда бурлаки выстроились с чегенями под правым плечом, Бубнов затянул высоким тенором припев «Дубинушки»:

*Шла старуха с того свету,
Половины ума в ей нету...*

Дружно подхватили бурлаки: «Дубинушка, ухнем...», и громкое эхо далеко покатилося по реке голосистой волной. В этот момент Бубнов с Кравченком поставили неволю ребром, поносные ударили нос налево, и барка немно-

го подалась кормой на струю, причем желтый речной хрящ захрустел под носом, как ореховая скорлупа.

– Ишшо разик, навались, робя!! – неистово кричал Гришка, как медведь наваливаясь на свой чегень. – Идет барка...

– Как же, пошла... Держи карман шире!..

Несколько раз начинали «Дубинушку», повертывая неволю ребром, но толку было мало: барка больше не двигалась с места. Когда неволя вставала к воде ребром, напором воды гнуло ее, как туго натянутый лук, а конец постоянно вырывался кверху, так что Кравченке приходилось сильно балансировать на нем, как на брыкающейся лошади. Раза два он чуть не слетел в воду, где его утащило бы струей, как гнилую щепу, но он как-то ухитрился удержаться на своей позиции и не выпускал чегеня из зачоченевших рук. Бурлаки с чегенями скоро были мокры до ворота рубахи, лица посинели, зубы начали выбивать лихорадочную дробь. Но все крепились, потому что на соседней барке шла точно такая же работа с неволей и неизменной «Дубинушкой».

Над Чусовой быстро спускались короткие

весенние сумерки. Мимо нас проплыло несколько барок. Воздух похолодел; потянуло откуда-то ветерком. Искрившимися блестками глянули с неба первые звездочки. Бурлаки продрогли и начали ворчать. Недоставало одного слова, чтобы все бросили работу.

– Околевать нам, что ли, в воде?.. – отозвался первым пожилой мужик с длинным, изрытым оспой лицом. – И то умаялись за день-то...

– Братцы! Еще разик ударьте! – упрашивал Савоська. – По стакану на брата... Ей, Порша, подноси! Только не вылезайте из воды, а то простоим у огрудка ночь, воду опустим, кабы совсем не омельть.

Порша с бочонком обошел бурлаков, поднося каждому стакан водки. Корявые, побелевшие от холодной воды руки подносили этот стакан к посинелым губам, и водка исчезала.

– Валяй по другому, Порша! – скомандовал Савоська, тревожно поглядывая на темневшую даль.

Снова «Дубинушка» покатила по реке, но барка не двигалась, точно она приросла к

огрудку.

– Ну, шабаш, ребятки! – проговорил Савоська. – Утро вечера мудренее. Что буди – будет завтра, а то и в самом деле не околевать в воде.

– О-го-го-го!.. – гоготал Кравченко в темноте, прыгая на конце неволи.

– Повертывай неволю, Кравченко... Шабаш...

Все бурлаки продрогли до последней степени, и вдобавок им нечем было заменить своих мокрых рубах: приходилось их высушивать на себе. Весь костюм у большинства состоял из одной рубахи и портов с маленьким дополнением в виде какого-нибудь жилета, бабьей кацавейки или рваного халата.

– Отчего нет огня на берегу? – спрашивал я у Савоськи.

– Погоди, бабы разведут... Вдруг-то нельзя, из ледяной воды да к огню: сразу обезножешь; надо сперва так согреться, а потом уж к огню. Вот я им плепорцию задам сейчас... Порша, дава-кось по два стаканчика на брата, согреть надо ребят-то.

Бедного дьякона после полуторачасовой

ледяной ванны трепала жестокая лихорадка, против которой были бессильны даже такие всеисцеляющие средства; как ром и коньяк.

– Зачем вы не остались у поносного? – спрашивал я его, когда мы в казенке пили чай.

– Совестно было... Засмеют бурлаки.

– А теперь как себя чувствуете?

– Одеревенел весь... Голова болит.

Я предложил дьякону сейчас же натереться водкой и лечь спать в нашей каюте. К утру бедняга не мог поднять головы, у него открылся жесточайший тиф. Как провели эту ночь работавшие в воде бурлаки – трудно себе представить. Ранним утром, с пяти часов, они были опять по горло в воде, и опять «Дубинушка» далеко катилась вверх и вниз по Чусовой. К довершению нашего несчастья рыжий сплавщик снял свою барку и уплыл на наших глазах. Скоро поплыли мимо нас одна барка за другой; обидно было смотреть на это движение, когда самим приходилось сидеть на одном месте.

– Вода на вершок спала... – со страхом сообщал Порша сплавщику.

Савоська сам сделал необходимые промеры; действительно, вода начинала спадать, и грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на огрудке.

– Что будем делать? – спрашивал я Савоську.

– Чего делать-то... Придется, видно, воротом орудовать.

– А отчего не хочешь сделать разгрузку?

– Вода уйдет, да и бурлакам эти разгрузки нож вострой: в воду лезут, а перегружать барку хуже им смерти.

Съемка омелевших барок воротом запрещена законом ввиду тех несчастных случаев, какие могут здесь произойти и происходили. Ворот все-таки продолжает существовать как радикальное средство. Обыкновенно вкапывают на берегу столб, на него надевают пустую деревянную колодку, к колодке прикрепляют крест-накрест несколько толстых жердей, и ворот готов, остается только наматывать снасть на колодку.

Когда к вороту станут человек шестьдесят, сила давления получается страшная, причем сплошь и рядом лопается снасть. В последнем

случае народ бьет и концом порвавшейся снасти, и жердями самого ворота. Бурлаки, конечно, отлично знают все опасности работы воротом, и, чтобы заставить их работать на нем, прежде всего пускают в ход все ту же водку, этот самый страшный из всех двигателей. Субъектам, вроде Гришки, Бубнова и Кравченки, работа воротом – настоящий праздник.

– Ворот надо налаживать! – кричали бурлаки, которым надоело стоять в воде. – Околе-ли совсем...

– Ну, ворот так ворот... Нечего, видно, делать...

Устроить ворот на берегу было дело полутора часа. Когда он совсем был готов, к барке подкатил Осип Иваныч на своей косной. Первым делом он, конечно, накинулся на сплавщика, обругал по пути Поршу, затопал ногами на бурлаков.

– Я вас всех, подлецов, в один узел завяжу!! – неистовствовал он в качестве предержащей власти. – Не успел отвернуться, как ты уж и на мель сел?.. А?.. Я разве бог?.. а? Разве я разом могу на всех барках быть... а? Что-о?..

Бунтовать?.. Сейчас с чегенями в воду...

– Мы ворот наладили, Осип Иванович, – заметил Савоська.

– Вздор!.. Сейчас сломать все! В воду! Все в воду!.. Ах, мошенники, подлецы! Я разве бог, что могу везде поспеть и все устроить!..

Осип Иванович был пьян еще со вчерашнего дня и сам не понимал, что говорил и чего требовал. Эту расходившуюся власть кое-как усадили обратно в лодку и отправили дальше.

– Поедьте в Верею! – предлагал он мне. – Отлично кутнем... Я уж заказал, чтобы баня была приготовлена и всякое прочее... Ха-ха... Не хотите? Ну, до свидания... В Перми увидимся. Меня найдете в первом трактире...

При помощи ворота мы через несколько часов работы, наконец, снялись с державшего нас огрудка и поплыли дальше.

До Чусовских Городков от деревни Камасино Чусовая идет в красивых холмистых берегах. Там и сям на берегу стоят красивые деревни, зеленой лентой разворачиваются поля. Лес является только промежутками и не сплошной стеной, как «в камнях». В заводях начали попадаться стаи уток и пары лебедей.

На Чусовой эту красивую птицу почти совсем не стреляют, и мне случалось видеть лебединые стаи штук в пятьдесят, притом в двух шагах от селенья. Омелевшие барки были теперь таким же заурядным явлением, как «в камнях» «убившие». Около них дыбом вставала «Дубинушка» и тяжело бурлили неволи. В двух местах барки перегружались, в третьем снимали барку воротом. Глядя на этот каторжный труд, нельзя было не согласиться с бурлаками, что уж лучше плыть «в камнях», чем здесь.

Нижние и Верхние Чусовские Городки, расположенные в четырех верстах одни от других, — одни из самых красивых чусовских сел. С ними связаны самые старинные сведения о фамилии Строгановых, для которых эти села долго служили самым крепким гнездом и ключом ко всей Чусовой. Здесь отсиживались Строгановы от нечаянных нападений разных недоброжелательных соседей и отсюда же снарядили Ермака в его знаменитый сибирский поход. В настоящее время Чусовские Городки представляют только исторический интерес. Местность кругом открытая.

Чусовая течет здесь широким плесом. Издали приятно смотреть на это «усторожливое» местечко, на каких наши предки любили селиться в то беспокойное, тревожное время.

Пониже Чусовских Городков, на высоком левом берегу, стоит красивое село Монастырек. Глядя на него с Нижних Чусовских Городков, так и кажется, что все село с своей красивой белой церковью точно висит в воздухе. Здесь в XVI столетии подвизался преподобный Трифон, миссионер, действовавший в духе Стефана Великопермского.[40] Он несколько времени жил среди остяков, на берегу реки Мулянки, – впадает в Каму ниже Перми, – где срубил и сжег громадную ель, которой молились остяки. Вскоре он переселился в Чусовские Городки и основал Успенский монастырь на том месте, где теперь стоит село Монастырек. Здесь преподобный Трифон прожил десять лет и принужден был оставить выбранное место по настоянию Строгановых. Передадим последний эпизод словами протоиерея Евгения Попова, заимствуя следующую выноску из его книги «Великопермская и Пермская епархии (1379–1879 гг.)»:

«Здесь (в Монастырьке) Трифон подвергся страшной опасности. Чтоб иметь свою пашню для устроенного монастыря, он стал сжигать пни и корни деревьев около своей хижины. А тут случилась буря. И вот произошел пожар, от которого сгорели дрова, приготовленные на солеваренные заводы Строганова! (Дров сгорело до трех тысяч сажень.) Жители вооружились. Когда Трифон сидел на высоком берегу Чусовой, опустив ноги, вдруг они толкнули его вниз. По страшной крутизне покотился угодник божий. Но господь, сохраняющий пришельцы (Псал. 145, 9), сохранил его жизнь. Он нашел себе на берегу лодку и без всякого весла переплыл на другую сторону. Строганов заковал его в железа, вместо того чтоб в столь необыкновенном пожаре видеть божие посещение. Но дня через четыре сам подвергся, по предсказанию преподобного, оковам от царских послов. Вразумленный этим обстоятельством, которое не без труда мог поправить, Строганов тотчас дал свободу преподобному и испросил у него прощение: однако советовал Трифону уйти из своих вотчин».

От Чусовских Городков до устья Чусовой с небольшим сто верст. Здесь берега реки совершенно пустынные, так что в одном месте на расстоянии восьмидесяти верст встречается один починок в три двора.

На девятый день наш караван привалил в Пермь, недосчитывая шести убитых и омелевших барок.

XVIII

Пермь – самый глухой губернский городок, особенно зимой. Но с открытием навигации он сильно оживляется, особенно во время сплава караванов, когда в Перми скопляется до десяти тысяч бурлаков, набирающихся сюда со всех притоков глубокой Камы. Около Перми весь берег сплошную уставлен привалившими сюда барками, которые с берега рядом с баржами и пароходами кажутся просто жалкими суденышками. По пермским улицам с утра до вечера ходят ватаги бурлаков. Слышатся пьяные песни, ругань, треньканье балалайки. В кабаках и харчевнях яблоку упасть негде. Большинство бурлаков получают в Перми окончательный расчет и спешат пропить в первом кабаке последние гроши. Что будет дальше – бурлак не думает, и мы не обвиним его за эту отчаянную гульбу, которой он наверстывает все те лишения и невзгоды, какие перенес на весеннем сплаву.

Главным центром, где собирается камская бурлачина, служит Черный рынок. Это недалеко от пристаней и в центре города. Сам по

себе Черный рынок, как вместилище непролазной грязи, специально пермской вони от полусгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, на которое страшно смотреть, этот рынок заслуживает подробного описания, если бы мы захотели угостить читателя картинами во вкусе реалистов последних дней. Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая принадлежность всех городских рынков, что мы не считаем нужным входить во все подробности описания этой живой клоаки. Бурлаки на Черном рынке стоят стеной с утра до ночи. Народ собрался сюда с нескольких губерний, говорит на нескольких языках и наречиях, но все это разнообразие великой нивелирующей силой нужды подогнано под один основной тип жалкого, оборванного бурлака. О подразделениях этого типа на заводских мастеровых, поречных, сельчан и инородцев мы уже говорили выше.

Я долго толкался в этой гудевшей, как расшевеленное гнездо шмелей, толпе. Заветревшие, запеченные лица, покрытые какой-то бурой корой, тупой апатичный взгляд, растрескавшиеся губы, корявые руки – все это

красноречивее всяких описаний говорило за те беды и напасти, которые должен пережить каждый бурлак, прежде чем попадет сюда, то есть на Черный рынок, это обетованное место, настоящий бурлацкий рай для всех Гришек, Бубновых и Кравченков. «Здорово погуляли в Перме...» – с удовольствием будет вспоминать каждый бурлак в течение восьмимесячной глухой зимы. А все бурлацкое «погулять» сводится на одну водку, которую он пьет в ужасающем количестве, пьет, пока есть деньги или пока не свалится с ног. Душа – мера этому отчаянному разгулу, созданному самой отчаянной, специально бурлацкой бедностью. Наестся вонючего сига, которого не будет есть самая голодная собака, набить брюхо весовым сырым хлебом – это уже роскошь.

Тут же на Черном рынке есть белая харчевня. Когда я проходил мимо, меня окликнул знакомый голос. Это был Савоська. Его русая кудрявая голова выставлялась в окно, и он улыбался мне.

– Заходите, барин, чайку попить со сплавщиками, – предлагал Савоська.

Белая харчевня стояла на солнечной стороне рынка, ее содержал разбитной ярославец, малый лет сорока, в белой ситцевой рубашке с крапинками и с налощенными кудрявыми волосами. У этого субъекта совсем не было шеи, и хитрая ярославская голова приросла прямо к плечам; но, несмотря на такой органический недостаток, ярославец обладал замечательной подвижностью, как ученая собака, смотрел прямо в глаза и к каждому слову прибавлял самое деликатное с. Несмотря на плутоватость хозяина, белая харчевня была непроходимо грязна, так что ее можно смело было назвать черной или грязной. Зеленые, захватанные стены, облупившийся потолок, покрытая черными слоями грязи мебель – все говорило о неприхотливых вкусах посетителей этой харчевни.

Савоська сидел в углу за столом со своей подругой. На грязной салфетке, стоявшей коробом, помещалась пара чаю. Соседние столики были заняты тоже пившими чай сплавщиками. Народ был все плотный, дюжий. Очевидно, они только что успели получить расчет с хозяев и теперь благодумствовали в

свою вольную волюшку. Красные лица и покрытые масленистой влагой глаза красноречиво свидетельствовали о том, что сплавщики, кроме чая, успели попробовать и чаихи.

– Расчет, видно, получили? – спросил я Савоську, усаживаясь к столу.

– Точно так, сполна получил. Сейчас в кармане две четвертных бумажки лежат... Ей-богу!.. Вот хошь у Степаньки спроси...

– Удержатся, не удержатся до послезавтра, – ответила Степанька, та самая шустрая бабенка, которая работала у нас на передней палубе.

– Нет, я зарок на себя положил! Погуляю два дни и зашабашу. Остатокные деньги все домой понесу...

– Больно много, пожалуй, не донесешь...

– Ну, ну... Ежели теперь у меня зарок? Да я хошь сейчас икону со стены сниму... А вы, барин, видели Осипа-то Иваныча нашего?

– Нет.

– Шабаш... закурил... Сейчас от него. Сидит в гостинице, девчонка с ним с Пашкиной барки, и такую компанию завели – разливанное море. Всякого водкой накачивает, только пей.

Я, грешный человек, впервой разрешил у него: ошарашил-таки стаканчика три. Водка не водка, а такое вино забористое... Любит по-пировать наш Осип Иваныч!

– Да ведь нужны деньги, чтобы пировать?

– На-вот... С караваном плыть да денег не добыть? Что ты, барин... Да разе Осип-то Иваныч без рук или без глаз! Он каждый раз уйму денег заворачивает со сплавом...

– Кажется, жалованье у него небольшое?

– Ах, барин, барин... Какое тут жалованье, да разе караванные жалованьем живут? Ха-ха... Взять Семена Семеныча или Осипа Иваныча, да по ихней жисти им тысячное жалованье надо класть, и того не прохватит.

Теперь взять хоть приказчиков с других пристаней, – продолжал Савоська: – все та же музыка... Они вместе с нашим-то Осипом Иванычем пируют, потому как, значит, у всех у них денег невпроворот. Ей-богу!.. Где нашему брату горе да работа – им нажива! От каждой убившей барки сколь они денег наживут да от обмелевших. Везде надобна работа, о поди усчитай-ка его... Не побежишь за ним по берегу-то досматривать: што написал, то и ладно!

Ведь теперь омельевшую барку надо сымать, надо людей – вот он и пишет сколько влезет, а об убивших говорить нечего: там, первое дело, рабочих не рассчитают – ступай, с чем остался, потом металл надо добывать из-под бойца, из воды – опять прибыток, потом сколь металлу недосчитывают, когда добывать из воды его станут, – с кого возьмешь. Вот оно куда хватило: изо всякой дыры караванным деньги лезут... Уж это верно!.. А еще ты возьми нынешний сплав, сколь мы дней простояли из-за воды, рабочим должны по-денное платить – опять тебе нажива... Уж я тебе говорю, только умей брать, а деньги – как вешняя вода на наших караванах. А привалили на место, примерно сказать в эту самую Пермь, надо делать рабочим окончательный расчет: тому недодал полтинника, с другого штраф вычел, третьего совсем не рассчитал – опять тебе прибыль... Так? А разве бурлак может что с приказчика искать, когда они за лишние дни рядились в лесу, без всякой бумаги?

Савоська сильно захмелел. Свою сожительницу он послал на рынок за какими-то покуп-

ками, а сам все пил стакан за стаканом невообразимую бурду, которую ярославец подавал за настоящую вишневую наливку.

– Ты бы уж лучше водку пил! – посоветовал я ему.

– Всему свое время: и водка от нас не уйдет... Гуляй, душа! Ха-ха... А ты помнишь, как меня Осип Иваныч тогда взашей с лестницы спустил? Я ведь тебя видел тогда, и совестно мне было такой срам принимать при чужом человеке... А Осип Иваныч такой же пьяница, как и мы, грешные. Небойсь ничего не останется, все пропьет дочиста. У других дома как грибы растут, а он только опухнет от сплаву... Ей-богу!..

– Зачем же ты пьешь-то, Савоська?

– Я-то?..

Савоська опустил свою кудрявую голову и задумался. Сквозь запыленные стекла лезли в комнату ласковые весенние лучи, делая грязь обстановки харчевни еще грязнее. Где-то катилась бесшабашная бурлацкая песня. Муха билась о стекло головой и звенела, как слабо натянутая струна. Около сплавщиков на столиках появились бутылки с разноцветными

наливками, лица сделались еще краснее и покрылись точно жирным лаком. От разговоров стоял в комнате громкий бессвязный гул. Делалось невыносимо жарко и душно, точно в жарко натопленной бане. Я хотел уже уходить, но Савоська удержал, упрашивая остаться еще на минуточку.

– А ты любишь песни, барин?.. – неожиданно спросил Савоська, точно просыпаясь.

– Люблю. А что?

– Да так... Я одну тебе спою, нашу пристанскую. Мастак[41] я песни-то был петь прежде, вся пристань наша слушает, бывало, как Савоська поет...

Приложив руку к щеке. Савоська затянул богатышным грудным тенором:

*Ох, с по горам-горам,
Да с по высоkiem —
Там молодец гулял...*

Все, что было в комнате, сразу затихло и затаилось. Проголосная песня полилась хватающими за душу переливами, как та река, по которой мы еще недавно плыли с Савоськой. Она, эта песня, так же естественно выли-

лась из мужицкой души, как льются с гор весенние ручьи. Простором, волей, молодецкой удалью веяло от этих бесхитростных, но глубоко поэтических строф, и, вместе, в них сказывалось такое подавленное горе, та тоска, которая подколотной змеей сосет сердце. Вся эта окружающая нас грязь, эти потные пьяные лица – все на время исчезло, точно в комнату ворвался луч яркого света...

– Да откудава ты, леший тебя задери? – спрашивал мужик с востропанной головой, начиная трясти Савоську за плечо. – Этаким черт... А?..

– Нет, не могу больше... – глухо проговорил Савоська, обрывая свою песню. – А прежде хорошо певал...

Сплавщики начали приставать к нему с угощением. Савоська не отказывался и залпом выпил несколько стаканчиков отчаянной сандальной наливки.

– А ведь прежде Савоська не был пьяницей, барин... – заговорил он, точно стараясь что-то припомнить. – Нет, не был... Справный был мужик, одно слово: чистяк-парень, хошь куды поверни. Да...

После короткой паузы Савоська, пододвинувшись ко мне, проговорил сдержанным полупшепотом:

– А знаешь, барин, отчего Савоська пьяницей сделался?

– Нет.

– Да, пьяница, сам вижу, самому совестно, а не могу удержаться: душеньку из меня тянет, барин... Все видят, как Савоська пьет, а никто не видит, зачем Савоська пьет. У меня, может, на душе-то каменная гора лежит... Да!.. Ох, как мне тяжело бывает: жизни своей постылой не рад. Хоть камень да в воду... Я ведь человека порешил, барин! – тихо прибавил Савоська и точно сам испугался собственных слов.

– Как порешил?

– Да так: взял обух, да живого человека и давай крошить... Верно!.. Только давно это было, годов с двадцать тому время быть. В те поры я еще совсем молодой парень был, хоть из подростков и вышел. Ну, было этак по двадцатому году, надо полагать. Не упомяну хорошенько-то. Больно давно!.. Ну, у меня отец сплавщиком был на Каменке и меня выучил

плавать на барке. У нас весь род сплавщики. Хорошо. Пониже Каменки есть пристань Утка, на ней жил у меня дядя, Селифоном звали. Тоже сплавщиком был. Только характером этот Селифон был очень уж строг: как огня его все боялись в нашей-то родне. Ну, вот этак перед пасхой, значит, самой дело было, отец мне и говорит, чтобы я съездил на Утку к дяде. Делишко маленькое было. У нас в до-прежние времена насчет родительской воли была строжина: как сказал, все равно, что отрубил. Поехал я на Утку, приезжаю, сделал, что наказывал отец, – надо домой ехать. А Селифон и говорит: «Савоська, оставайся у нас на пасху...» Ну, я было туда-сюда, – нет, дядя и слышать ничего не хочет. Видишь, тетка его подбила удержать-то меня, потому у них свадьба затевалась, дочь выдавать хотели. А мне не хотелось тогда на этой Утке оставаться, до смерти не хотелось – дядю-то Селифона я очень любил, да на Каменку меня уж больно тянуло: зазноба у меня там осталась. Хорошо. Перечить дяде не смею, остался. Пришла пасха. А надо тебе сказать, что в нашем роду все по старой вере, по беспоповщине. Старики да

старушки у нас все справляют, что следовало. Хорошо. Вот на первый день пасхи собралось много наших староверов у дяди, старики отслужили свою службу, а когда лишний народ разошелся, сели мы разговляться: я, дядя Селифон, два старца, которые служили за попов, да тетка с дочерью. Сидим, разговляемся, все как следует по порядку, а тетка наливает мне стакан водки и подносит: «Поздравь, говорит, дядю с праздником...» А я в те поры насчет этой водки ни-ни, ни единой капли в рот не брал. Ну, зачал я отпираться от водки, а тетка давай меня стыдить. Известно, старуха сама пропустила стаканчик и разгулялась... Дядя-то тоже смеется надо мной, что какой из меня сплавщик будет, коли я водки не умею пить. Ну, я и ожег первый стаканчик, а потом, как забрало, другой. С непривычки-то у меня так столбы в башке и заходили, весело таково сделалось. Только сидим мы этак, разговляемся, а дядя-то Селифон и говорит тетке: «Мать, где у нас Федор?» А тетка этак ему сердито ответила: «Где ему, Федьке, быть, на сарае дрыхнет...» Дяде теткины-то слова и не поглянись, взбурил он на нее, как

матерый волчище, а сам опять свое: «Надо позвать Федьку разговляться, а то нехорошо: сегодня всем праздник». А надо тебе сказать, что этот самый Федька был первый разбойник в наших местах, – продолжал Савоська. – Я о нем раньше-то слыхивал много, а видать не видывал. Федька-то был с... заводов, из мастеровых. Ну, тогда еще все за барином жили, Федька и угодил в разбойники. Случай такой у него вышел с одним приказчиком... Полюбилась Федьке одна девка, а приказчик взял ее себе в плехи силком. Тогда ведь такие дела просто делались: подневольный был народ... Обнаковенно, Федьке это не по нутру пришлось, он и полыхнул приказчика ножом, а сам в лес, да в лесу и проживал, а по зимам у знакомых раскольников перебивался. Вот у дяди-то Селифона он частенько бывал... А в те времена за пристаносодержательство страсть как доставалось: в остроге сгноят. Ну, Федька попервоначально жил, как следует, не обижал своих, а потом, как изварначился, и зачал шутки шутить над знакомыми раскольниками: приедет ночью, прямо в ворота: «Отворяй ворота!» Отворили. «Не хочу,

разбирай забор!» Помнутся, помнутся, поругаются, а делать нечего – и забор разберут, потому с Федькой шутки плохие. Так Федька-то и галеганился над мужиками с год, этак сказать, ну и над дядей тоже, над Селифоном. А тут еще статья особенная подошла: у дяди, значит, у Селифона, дочь у его была, Матреной звали, красивая девка из себя, вот она возьми да с Федькой и сживись... Ну, дяде-то Селифону это уж нож вострый: Федьку-то он примал из милости, а уж дочь отдавать за разбойника – это другой разговор. Крут был дядя-то, вот он и удумал штуку над Федькой сделать...

Только я про эти самые дела в долгом времени узнал, после уж, когда Матрена-то замужем была. Ее и замуж поскорее отдали, чтобы прикрыть Федькин грех, так, за пропащего парня и отдали. Ну, так сидим это мы за столом, а в избу и входит Федька... В красной рубахе, в бархатных шароварах – чистяк-парень, одно слово. Высокий, в крыльцах[42] широкой, из себя молодчина, хоть куды повернуть. Было ему тогда лет за тридцать с небольшим. Ну, усадила тетка этого Федьку за

стол, а дядя принялся его накачивать водкой: и ему подносит и сам пьет, и я, глядя на них, хлещу тоже водку. Хорошо... А потом, мало за малым, и зачался промежду них разговор... Дядя-то Селифон и давай корить Федьку за все про все, так напрямки ему и катит. Федька сидит и все молчит, а дядя отчитывал-отчитывал ему, а потом как схватится да как полыхнет Федьку по уху!.. Здоров был этот Селифон, как медведь, лошадь кулаком с ног сшибал. Ну, как Федьке прилетело в ухо, он соскочил, сгреб со стола нож да с ножом на дядю... Тут и пошла кутерьма!.. Один старичонко ухватился Федьке за руку, а дядя опять в другое ухо. И схватились они втроем за Федьку, а Федька – куды тебе! – как зачал стариками поворачивать, у Селифона-то только седая борода мелькает. Ведь совсем зачал Федька одолевать стариков, могутный из себя парень, ну куда с ним старикам справиться. А тетка сперва убежала из избы, а потом, как увидела, что Федька насел совсем на стариков, как закричит: «Савоська, ты чего глядишь... Бей Федьку!..» А я все время дураком сидел и рукой не касался, а тут сразу расстервенился, да как брошусь в

кучу к старикам. Уж хорошенько и не помню, как мне топор в руки попал, надо полагать, тетка же и подсунула, я и давай благословлять обухом Федьку... Увидал он, что дело плохо, – в окошко, а старики уцепились за него, как клещи, ну он и их за собой в окошко вытащил. Ну, тут уж за окошком-то я его, Федьку, и прикончил... После положили на дровни да в лес. Так я и порешил Федьку, барин! Как теперь вижу: прямо по затылку как пластнул обухом – так Федька и покатился по земле... Воротился я после этого самого случая домой, – продолжал Савоська. – Ну, сперва-то немножко сумлительно было, блазнило[43] Федькой, а потом все прошло. Даже ведь и за-был об ем, точно не я его и порешил. Хорошо. А тут меня женили на зазнобе на моей, на Аннушке. Эх, хороша была девушка Аннушка, барин, а вышла – еще стала краше да лучше. Вся пристань на нас, бывало, любитесь... Хорошо ведь и со стороны глядеть, как люди душа в душу живут, как два голубя. Отец у меня скоро помер, остался я в дому полным хозяином, все у нас есть с Аннушкой, все спорится: живем да радуемся. Этак годов с восемь мы

прожили, уж мальчонка сынишка у меня стал подрастать... Тут вот моей Аннушке что-то и попритчилось: сглазили ее, что ли, только стала она сохнуть – как все равно свеча тает. Уж лечили-лечили мою Аннушку – и лекарки, и знахарки, и старики знающие: нет ей легче, и шабаш! И взяло тогда меня горе, барин, такое горе, хоть руки на себя наложить: больно я любил мою Аннушку... Чтобы там пальцем ее пошевелить, как другие-прочие делают, – ни боже мой! Год она, сердечная, маялась... Спросишь: «Где болит, Аннушка?» – «Нигде у меня не болит», – ответит, а сама так ласково-ласково смотрит. Глаза-то у ней стали большие-большие; взглянет ими, вот как обожгет по сердцу... Пошло дело к весне, заиграла вода, начала совсем чахнуть моя Аннушка... Только однажды она мне и говорит: «Савося, не жилища я на белом свете, не топтать мне, видно, зеленой травушки, помру я скоро... Скажи мне одно, Савося, нет ли у тебя на душе какого греха?» Как она это самое слово промолвила, у меня точно что оборвалось: Федька-то мне тогда и вспал на ум... Ну, покаялся я Аннушке в своем грехе, усмехну-

лась она и говорит: «Это за него меня господь наказал...» Тут подошел сплав, я убежал с караваном, а Аннушка без меня и душу богу отдала. Остался я один-одинешенек, и так-то мне сделалось тошнехонько, что и сказать тебе не умею. Ну, а тут уж нашлись дружки-приятели, давай утешать, а какое у нас утешение: кабак... Стал я похаживать в кабак, отбился от работы, люди дивуются, как я дом свой зорю, меня бранят да ругают. А на что мне дом, когда я и жизни своей постылой не рад? И чем дальше я пью, тем Федька предомной неотступнее: вижу его, как живого вижу, вот как теперь вижу тебя. Сначала все по ночам он приходил ко мне, а потом и днем... И молиться я принимался, и на скиты старицам подавание посылал, и эпитимию на себя накладывал: не идет Федька у меня с ума, и шабаш! Жену у меня бог отнял из-за него, сынишка ушел за матерью, а теперь он за мной пришел... Только мне и легче, когда я песни пою! Может, это и грешно, да уж на сердце-то тошнехонько... Хорошо я певал, когда молодым был, а тут как выпью, пойду по улице и зальюсь: вся улица слушает, по которой иду.

Старики-то которые да старухи и осудят меня за мои песни: «Вино в Савоське поет!», а того не подумают, что не вино во мне, а мое горе-горькое поет... И тяжело мне и хорошо, когда пою!

Савоська задумался и опустил голову. По лицу у него катились пьяные слезы.

– Ходил я к одному старцу, советовался с ним... – глухо заговорил Савоська. – Как, значит, моему горю пособить. Древний этот старец, пожелтел даже весь от старости... Он мне и сказал слово: «Потуда тебя Федька будет мучить, куда ты наказание не примешь... Ступай, говорит, в суд и объявись: отбудешь свою казнь и совесть найдешь». Я так и думал сделать, да боюсь одного: суды боле милостивы стали – пожалуй, без наказания меня совсем оставят... Куда я тогда денусь?

Через полгода я прочел в газетах заметку о крестьянине Севастьяне Кожине, который сам явился в...ской суд и сознался в убийстве. Это был Савоська. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Компания «Нептун» через год ликвидиро-

вала свои дела, заплатив своим акционерам по пять копеек за рубль.

ПРИМЕЧАНИЯ

БОЙЦЫ

Очерки сплава по реке Чусовой

Впервые напечатаны в «Отечественных записках», 1883, Э 7, 8. Автор работал над «Бойцами» в течение многих лет. В Свердловском областном архиве сохраняется рукопись под названием «Легкая рука». На первом листе рукописи надпись-автограф: «Первоначальная редакция „Бойцы“ – писана в 1874–1875 гг.». Это одна из самых ранних среди дошедших до нас рукописей Д.Н.Мамина-Сибиряка. Тема сплава по Чусовой разрабатывалась в ранних редакциях романа «Приваловские миллионы». В одном из вариантов романа (он назывался «Каменный пояс») сохранился план главы, воссоздающей острый конфликт между богатством и бедностью:

«Вот эта знаменитая пристань, с которой народ отправляет свое богатство и остается голодать, вот изнанка Ирбитской ярмарки, ее подкладка, вот источник богатств Архарова,

благодетеля.

Толпы бурлаков – перекатная голь, захудалые, обросшие, грязные, голые, беднее самой бедности: вогулы, остяки, черемисы, татары, вотяки... Наступает день (1 мая) Еремея Запрягальника, и это море крестьянское заволновалось. Им снятся горы, леса, нивы... Голод, нищета, дети, жены.

Обед бурлаков: заплесненный, черствый, как камень, хлеб опускается в бурак и приправляется горячей молитвой... Пьют воду из бурака, а хлеб вытаскивают лучинками.

Пьянство этой голи напомнило Прив(алову) Ирбитскую ярмарку. Только там от избытка, здесь от горя...

А эти песни – эти поминки по живым, отпевание самих себя на родной кормилице-реке, и Привалов плакал, как ребенок, от этих картин – перед его глазами происходил страшный акт борьбы за существование.

Какие лица б(ыли) у бурлаков.

В чем они б(ыли) одеты.

Вот фундамент богатств Ляховского, Архарова и других...» (В сб. Урал. Екатеринбург, 1913, с. 86.)

Очерки «Бойцы» написаны в большей своей части на основе личных впечатлений. В юношеские годы Мамину неоднократно приходилось совершать поездки по Чусовой от Висимо-Уткинской пристани до Перми. Сберегая скудные свои средства, родители были вынуждены отправлять сына в Пермскую духовную семинарию с попутным караваном барок, подвергая его всем превратностям такого рискованного путешествия. Сплав барок, как видно из очерков «Бойцы», был смертельно опасен для сплавщиков, бурлаков и «пассажиров». Юношеские впечатления оставили глубокий след в памяти Мамина и дали материал для ряда его очерков: «В камнях», «Бойцы», «На реке Чусовой», «Вольный человек Яшка» и др.

А.Груздев

Примечания

Шары – глаза. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

2

Мыслете – старинное название буквы «м».
Писать мыслете – идти нетвердым шагом.

[^^^]

...подпер руки фертом. – Ферт – старинное название буквы «ф».

[^^^]

Азям – крестьянская верхняя длиннополая одежда.

[^^^]

5

Спишка – спуск барок на воду (от слова «спихнуть»).

[^^^]

...с печами Сименса. – Сименс Фридрих, немецкий инженер, усовершенствовал процесс варки стали.

[^^^]

Кислы – проквашенная мелкая капуста.
(Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Лопотина – верхняя одежда, вообще платье.
(Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Обуй – обувь. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Помните евангельского ленивого раба, который закопал свой талант в землю? – Талант – древняя денежная единица; в евангелии рассказывается о рабе, который закопал в землю деньги, оставленные ему господином во время его отсутствия; по возвращении хозяина раб выкопал деньги и возвратил их полностью; другой раб пустил оставленные деньги в оборот и вернул их с процентами. Закопать, зарыть талант – оставить знания, способности, средства без развития и приумножения.

[^^^]

Настоящий очерк относится ко времени, предшествовавшему открытию Уральской горнозаводской железной дороги. – Автор.

[^^^]

Черепом называется тонкий слой льда, который весной остается на дороге; днем он тает, а ночью замерзает в тонкую ледяную корку, которая хрустит и ломается под ногами. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Ушкуйники (от «ушкуй» – плоскодонная ладья с парусами и веслами) – дружины новгородцев в XI–XV вв., отправлявшиеся по речным и североморским путям с торговыми и военными целями. Ушкуйники принимали участие в освоении новых земель в северном поморье, Приуралье и Поволжье.

[^^^]

Голутвенные – здесь: в смысле «бедные», «обнищавшие».

[^^^]

Преображенский приказ – основанная Петром I канцелярия, в ведение которой вначале входило заведование регулярным войском и розыск по преступлениям против царской власти («Государево слово и дело»). Впоследствии приказу были поручены почти исключительно следствия по политическим делам. Приказ находился под управлением князя Федора Юрьевича Ромодановского (у Мамина-Сибиряка ошибочно – Ивана Федоровича).

[^^^]

Дело о Солнышкине нами заимствовано у Есипова из его раскольничьих дел XVIII века. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Шугай – здесь: род кофты; обычно с ленточной оторочкой кругом.

[^^^]

Из сплавщиков на пристанях особенно ценятся меженные, то есть те, которые плавают по Чусовой летом, – по межени, когда река стоит крайне мелко и нужно знать до мельчайших подробностей каждый вершок ее течения. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Суводь – круговая струя над омутом, водоворот.

[^^^]

Огрудки – мели в середине реки, где сгруживается речной хрящ. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Таши – подводные камни. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Четь – четверть. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Глаголь – старинное название буквы «г».

[^^^]

Вачеги – рукавицы, подшитые кожей. (Прим.
Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Пиканное брюхо. – Пиканники – прозвище жителей Кунгура (города Пермской губернии).

[^^^]

Потеси – большие весла, служащие для управления барками. Лоты – приборы для измерения глубины воды, состоящие из троса с грузом на конце.

[^^^]

Невьянские заводы – металлургические заводы на Урале, принадлежавшие заводчикам Демидовым.

[^^^]

Залобует – убьет. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Мурчисон Родерик Импий (1792–1871) – английский геолог, автор капитального труда по геологии России «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского». Эйхвальд Эдуард Иванович (1795–1876) – русский ученый-естествоиспытатель. Ему принадлежит капитальный труд «Палеонтология России».

[^^^]

Порубень – борт. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Названия вымерших пород моллюсков (лат.).

[^^^]

На Урале раскольников иногда называют двоеданами. Это название, по всей вероятности, обязано своим происхождением тому времени, когда раскольники, согласно указам Петра Великого, должны были платить двойную подать. Раскольников также называют и кержаками, как выходцев с реки Керженца. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Раскольники называют картофель земляным горохом. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Лычага – веревка, свитая из лыка.

[^^^]

Оклематься – поправиться. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Пониток – здесь: верхняя одежда из полушерстяного домотканого сукна.

[^^^]

бойцового мяса...

[^^^]

...сирены... которых слушал привязанный к корабельной мачте Одиссей. – Сирены – мифологические полуптицы-полуженщины. Своим волшебным пением они увлекали мореходов, которые становились добычей хищных сирен. Одиссей, герой поэмы Гомера «Одиссея», залепил своим спутникам уши воском, чтобы они не слышали пения сирен, а себя велел привязать к мачте и, хотя слышал пение сирен, остался жив.

[^^^]

Остожьем называется загородка из жердей вокруг стога сена. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Стефан Великопермский (1340–1396) – проповедник христианского учения среди народов Севера.

[^^^]

Мастак – мастер. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

В крыльцах – в плечах.

[^^^]

Блазнило – мерещилось, казалось.

[^^^]